

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 44

1986



Николай ГОРБАЧЕВ

ТУНГУССКИЙ ОГОНЬ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 44

Николай ГОРБАЧЕВ

ТУНГУССКИЙ ОГОНЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Николай ГОРБАЧЕВ

Николай Андреевич Горбачев родился в 1923 году в селе Большенарымское Восточно-Казахстанской области. Перед Великой Отечественной войной учился в морском техникуме имени Г. Я. Седова в Ростове-на-Дону, откуда ушел на фронт. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. В послевоенные годы служил инженером в ракетных войсках, был специальным корреспондентом газеты «Красная звезда». После демобилизации в 1967 году работал заместителем главного редактора журнала «Москва», позднее — журнала «Октябрь». Семь лет Н. Горбачев возглавлял Высшие литературные курсы Союза писателей СССР, в настоящее время — секретарь Правления Союза писателей СССР.

Первые рассказы Н. Горбачева появились еще в годы студенчества. За повесть «Звездное тяготение» — о солдатской службе в Советской Армии — писателю была присуждена в 1968 году Литературная премия Министерства обороны СССР.

Над трилогией — романы «Дайте точку опоры», «Ударная сила», «Битва» — о послевоенном техническом прогрессе, создании в нашей стране ракетного и противоракетного оружия — Н. Горбачев работал тринадцать лет. За роман «Битва» удостоен Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького (1981 год).

Роман «Белые воды» (книги «Бергалы», «Свинец»), посвященный героическому труду горняков Рудного Алтая во время Великой Отечественной войны, написан в 1976—1985 гг., на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и СП СССР отмечен Первой премией.

Почти все книги Н. Горбачева изданы в социалистических странах.

СЕРДЦА ВЫСОТА

Беседа серьезно затягивалась, но ни он, Всеволод Анисимович Кочетов, кого знал до этого лишь на бегу, «шапочно», ни тем более я совершенно, казалось, забыли о времени, хотя оно, беспощадное и всевластное, настойчиво напоминало, что главному редактору одного из «толстых» журналов — «Октябрь» надлежало заняться прямыми обязанностями: сотрудники уже не раз, приоткрыв дверь в кабинет, казали свои лики — мужские и женские.

Происходило это в пору глухого и на редкость затаянного предзвездья шестьдесят восьмого года. Разговор непринужденно перекидывался с литературных проблем на обществено-политические и международные. И я в живости, простоте текущей беседы хотя и отмечал, как вдруг остро режуще, упор в упор остановится его взгляд, почудится на миг неуютность, и вновь глаза его оживятся, согретые новой, интересной мыслью. И все же не в те часы, а позднее понял, что пытался он, пусть в первом приближении, «открыть» для себя мой мир и мои представления, — ведь вопрос решался не простой — занять ли мне пост заместителя главного редактора или нет?

В конце разговора сказал, отепляясь лицом, пряча поднадбровья светлую хитринку:

— Ну вот что, ладно... Как, скажите, отнесетесь к предложению?..

И пояснил его.

Да, в той беседе с ним довелось ощутить чисто эмоциональное, поверхностное восприятие Кочетова, — то, каким пользовались чаще люди, характеризуя его, — глубинное же, сущее приходило и кристаллизовалось потом, со временем.

Не секрет, что у некоторых людей, встречавшихся с ним впервые, сталкивавшихся лишь накоротке, мимолетно, не имея возможности общаться и разговаривать долго, тем более не работая с ним рука об руку, складывалось нередко впечатление, как о суровом, даже жестковатом человеке — такое скорее вызывалось строгими чертами чуть удлиненного и все же правильного лица, упрямым, как бы давящим взглядом прищуристых, пронзительных глаз из-под при-

вислых надбровий. Глаза его и в самом деле могли, как уже поминалось, вдруг обжечь лезвистой остротой. Но то был вынужденный и своеобразный щуп, беспощадная устремленность — проникнуть в самую суть, вскрыть и постичь ее, будь перед ним человек или жизненное явление, возникшая сложная ситуация. И однако в глубини его глаз всегда таились, жили мерцающими, сокрытыми от любопытствующих взоров огоньками святые и истинные застенчивость и беззащитность.

А вот сердце у него, как у всякого неоспоримо вершинного таланта, одиноко и гордо вознесшегося к поднебесьям, откуда многое на земле в бесконечно клубящихся облаках беспокойного человеческого бытия видней и ощутимей, но и оттого неизбежно большей и жалостливей, — сердце его имело свою высоту, свой порог болевой чувствительности и абсолютную камертонную настроенность на добро и всегда искреннее, честное отношение к людям.

Что ж, а в крутых психологических бурях, в схлестах страстей, где нельзя поступаться совестью и правдой, он мог быть и суровым, и беспощадным, но... всегда все же — справедливым, и, пожалуй, потому невольно напрашивается вывод, что подобная бескомпромиссность и стойкость — удел людей сильных, с самородно-алмазным сплавом убеждений и принципов. И однако он был легок и отзывчив на юмор, шутку, не прочь был в добром расположении выкинуть «коленце». Сидение в кабинете редактора, пожалуй, как иная вредная микстура, было противопоказано его натуре, деятельной, подвижной, оттого его чаще заставляли в хождениях по редакции — в отделах, среди сотрудников.

...Шла редакция повести В. Собко «Четвертая рота», и в отделе прозы работа по тексту перевода складывалась трудно и напряженно, рукопись, лежавшая на столе редактора отдела, пестрела серьезными пометками и правками, и в это время сюда вошел Всеволод Анисимович. Острый взгляд редактора, скользнув, тотчас оценил происходящее, — над переносицей прорезалась складка, брови встопорщились под острым углом.

— Это что такое?

— Редакция...

Похлопал главный редактор себя по карманам, — очки, выходит, забыты на столе в кабинете.

— Пожалуйста, можно ли ваши очки? — И, отступая к противоположной стенке, держа на отдалении очки, весело уже щурясь, наконец проговорил: — Ну вот теперь вижу... Переписываете? А переводчик — человек уважаемый, сам все делает. Так что вперед... Вот так!

Добрый, всепонимающим взглядом светились глаза, когда возвращал очки.

Как всякая выдающаяся личность, он яркий пример человека сложностей и вместе подвига литературного и жизненного. Подвига, который вершится естественно и органично, являясь следствием неразменной убежденности, веры в правоту, — подвига, освещенного высокой интеллектуальной воскрыленностью. Затяжная болезнь заставляла его ложиться много раз в больницы, — происходила подспудная и драматическая борьба человека и злого недуга: вырывался из больницы Кочетов, — и вот он тотчас в редакции, высокая его фигура возникает на пороге; лицо опало — бледное, но приветливое и бесконечно радостное: «Здравствуйте, товарищи!» Так всегда, с этим неизменным — «товарищи».

Быстрее, точно шагреновая кожа, убывали сроки временных побед над болезнью — все равно в каждый такой отвоєванный срок работа до упоения в журнале — встречи с авторами, сотрудниками, обсуждения рукописей, работа над последним романом «Молнии бьют по вершинам», посмертно опубликованным в журнале «Москва». Уже безнадежно больной, прикованный неодолимым недугом, снедавшим силы, он скрупулезно и рачительно следил за делами журнала. В ту пору завершалась редакция второй книги «Война» Ивана Стаднюка. В Переделкине, на даче, собрались члены редколлегии журнала, сотрудники отдела, — все невольно обратило внимание: прикроватном столике увесистая стопка книг с многочисленными бумагами лентами-закладками. Подумалось вскользя: писатель и в такие обреченные дни не обходится без чтения...

Каково же было удивление, когда он, выслушав всех, причастных к чтению рукописи, к редактуре, сказал: «Теперь разрешите мне», — и потянулся к стопке: в ней оказались и его книги о военной поре, и главным образом книги мемуаров наших полководцев. Высокую оценку давал он «Войне», однако и замечания, предложения его были разительными и точными, и по ходу рассуждений, обращаясь то к одной книге, то к другой, комментировал сказанное выдержками. Не просто, выходит, читал, — преодолевая жестокую, заламывающую сознание боль, собирая силы в кулак, готовился к разговору. Можно было лишь догадываться, чего ему это стоило!

И все же другое встает передо мной всякий раз, когда думаю о Всеволоде Анисимовиче, — вот та «дорога в детство», как я теперь называю для себя это путешествие. И все больше утверждаюсь в мысли, что именно сильным личностям дано в годину ясного и бестрепетного осознания — да, время сочтено, поступь чудовищного рока неотвратима, — совершить как бы прощальный круг, вернуться к началу жизни, к первым своим шагам по ней, чтоб проверить, в одном безмерном охвате ощутить всю свою жизнь, все содеянное в ней: все ли так, без жестоких ли просчетов она?!

...Машины держали путь в Ленинград — через Вышний Волочок, а главное, Новгород, колыбель, родное гнездовье Кочетова. Августов-

ская солнечная теплынь и вознесенное чистое небо с зовущим бесконечьем мягкой, ровной голубизны входило и растворялось щемящим чувством тоже безоблачной и беспредельной жизни. Прошлись по Волочку, воскресному, довольно оживленному, к берегу озера, застывшему в белесо-голубом штале с зеленым, будто зависнувшим и парившим невесомо над водой, островом с неестественно белым старым храмом в центре. Стояли, любуясь дивной игрой красок природы, и Кочетов негромко заметил:

— Вот природа под все ставит знаменатель, под все человеческие страсти — и истинные, и ложные.

И мне почудилось: выплеснулось сокровенное, наболело-таившееся. В ту пору не угасли, не утихомирились страсти, разноречия, полемика вокруг его романа «Чего же ты хочешь?».

В Новгороде в предвечерье, на излете тихо отходившего дня, в лимонно-розовой однородной растечности зари по-над рекой Волховом и дальше — в сторону Ильмень-озера мы неторопко бродили по городку, по многим его улицам, перестроенным, но с метинами старины. Вот она, улица Никитинская, еще сохранились деревянные дома, двухэтажные, рубленые, угольной чернью отливают дерево — печать неодолимой работы стихии за многие десятилетия; однако дома двенадцатого, в котором родился Всеволод Анисимович, нет, — и, останавливаясь, он с рассеянной и глубоко ушедшей улыбкой рассказывает о детстве, шалостях, выдумках, самострелах и пугачах, какие мастерили. Неподалеку крохотный скверик с кленами и липами разгорожен, доступен всем, в беседках отдыхают разного возраста люди. Всеволод Анисимович молодо возгорается, оживленно, но и с той вдруг знакомо открывшейся застенчивостью поясняет: дом купца-булочника, кого попросту звали «нэпманом». Была когда-то рядом пекарня, и скверик, тогда именовавшийся садом «нэпмана», был обнесен высоким, плотно зашитым тесовым забором, крашенным густой зеленью. Ватага отчаянных ребят, случалось, вершила набеги на пекарню, проникала туда и, если выпадала удача, возвращалась огруженная, неся в подолах ситцевых рубашонок живые куски сладкого и духовитого сдобного теста, яично желтевшего, — отъедались «от пуза». Летними вечерами, когда накатывало прохладой с Волхова, собиралась в саду булочника местная торговая знать; гремел шепеляво граммофон, зачинались танцы, и купеческие парочки кружили под кронами деревьев и на веранде, — тогда шмыгали через забор мальцы, успевали схватить на временно опустевших столиках невиданное лакомство — мороженое...

Как-то заезжая труппа давала в театре «Евгения Онегина». В первый день, сидя на галерке, они с дружкой Славой Силуяновым пришли «в великий гнев», когда на дуэли под пистолетом был «такой хорший» Ленский. На другой день перед самым спектаклем, с превеликими трудностями пробрались дружки в артистическую

уборную, выкрали бутафорские пистолеты, — пусть-ка теперь стреляет тот «злодей» Онегин! Шум, к вящей радости друзей, возник грандиозный, однако режиссер, припомнив в последнюю минуту строку: «Паду ли я стрелой пронзенный...», нашелся — дуэлянты стрелялись из луков.

Воспоминание заглогло его, весь он светился, жил и горел давними, невыветрившимися шалостями и горькими радостями детства.

Из Ленинграда мы возвращались в разное время. Встретились в Москве, в редакции, и он, несмотря на гнетущую болезнь, казался обновленным, готовым к борьбе за жизнь, за право и возможность вновь вдохновенно работать, и сердца высота его была настроена на самый возвышенный порог камертона. Сказал в естественном и чистом движении:

— Спасибо, что вместе побывали в моем детстве.

БОРОЗДА В ГРАНИТЕ

Начартом полка он стал, когда нас, десантников, научных по принципу «с неба в бой», привели к «стрелковому знаменателю». Так ядовито, не без горечи говорили наши опытные собратья, уже отведавшие опасно-хмельной вкус «десантного дела» и на Смоленщине, и на Днестре. А нам, артиллеристам, в общем-то «пришлым», потому что в десантники мы влились на позднем этапе войны, от такого «приведения» не было ни холодно ни жарко. Однако всем было ясно, что столь серьезное решение принято не иначе, как Верховным Главнокомандованием, и, значит, тут — точка, значит, так надо. Тем более что по слухам, просачивавшимся к нам, выходило: готовимся к одной из самых горячих операций сорок пятого года — Балатонской.

Майор был высок — почти двухметрового роста. Форма на нем — гимнастерка под ремнем или шинель — всегда сидела на загляденье красиво, с изяществом и вкусом: подогнанная, наглаженная, расправленная. И скороспелым офицерам из студентов оставалось лишь поглядывать на него с известной завистью: ничего не скажешь — кадровый военный! Ведь на каждом из нас все вроде было то же самое и вместе с тем — не то... У него высокий, с крутым спуском лоб, тонкий, лезвиеподобный нос на удлинённом лице, темно-оливковые глаза, высоко выступавшая над воротником шея с крупным кадыком, будто узел галстука. Мужественным, строгим, как бы даже неприступным веяло от облика майора. Но когда он улыбнется, коротко рассмеется, все лицо тотчас преобразится: лучатся, словно бы живым, зримым светом, оливковые глаза, лучатся подвижные губы, нос,

тонкий, с беспокойными ноздрями — они трепетали, смеялись... Ходил он скоро, будто саженью мерил негнушимися ногами, и всегда являлся внезапно перед артиллеристами, где-нибудь далеко от лагеря до темени в глазах приводившими пушки «к бою» и в «отбой». Первый увидевший майора Зорина у огневой позиции вскрикивал запально-испуганно: «Начарт!»

Как дошло до него, что я, командир огневого взвода, веду дневник, что пробовал писать стихи, а перед самой войной отважился испытать силы в прозе, написав единственный рассказ,— неизвестно. Но с некоторых пор мне стало казаться: при встрече со мной начарт пристально, с прищуром всматривается в меня — и я отвожу глаза. Дело в том, что однажды он стал свидетелем, как запоролся один из моих расчетов: пушку завалили в глубокую колдобину, которую не заметили под снегом. Я был тоже в запарке — мокрый, взмыленный — и, верно, походил на только что выуженного из проруби. Холодно-ироническим взглядом остановил мой доклад майор Зорин, кивнул низкорослому ординарцу Василию — все поднатужились, выхватили пушку. После поотстал от расчета Зорин, и я рядом с ним — по этикету обязан. Тут он сказал:

— Командирская наука не легче писательской... — Однако быстро поправился: — Впрочем, всякое дело трудное, если относиться к нему всерьез. Вот так! — И, выразительно посмотрев, козырнул: — Оставайтесь!

Слухи тогда оправдались: нас действительно ввели в Балатонское сражение, в котором немецко-фашистское командование делало одну из своих безнадежно-лихорадочных ставок: пресечь путь наступательно-обвальнoй лавине советских войск.

Начарт всегда появлялся на позиции, ровно снег на голову, не пригибаясь под пулями, минами, шагал, выбрасывая ноги; ТТ не в кобуре — засунут прямо за офицерский ремень с портупеей. У Василия, упорно семенявшего со стиснутыми губами позади начарта, теперь было два автомата: наш ППП и трофейный, потому грудь перепоясывали, совсем как у революционных матросов, крест-накрест ремни — брезентовый от ППП и черный, лакированной кожи, — от трофейного.

Все случилось позднее — уже после Балатонского сражения, после взятия Вены, и день тот в памяти, точно борозда, прорезанная в граните: ни тлен времени, ни обычно разрушающее «выветривание» не сровняли этой борозды, не сгладили.

Городок Ной-Ленгбах лежал в пологой котловине и отсюда, с кудревато-лесистых пригорков, по которым мы занимали позиции, казался игрушечным, будто кто-то, резвясь с домами-кубиками, островерхими, с красочерепными крышами, стиснул их в плотную кучу безалаберно, да так и забыл.

Стояли мы тут дня два; происходила перегруппировка войск, ночью нас должны были даже снять, а утром в тот день офицеров собрали на рекогносцировку. Возвращались на позиции ложбинками, соблюдая эту меру предосторожности лишь по привычке: к концу войны маскировались менее тщательно.

С майором Зориным разошлись позднее всех: мне надо было вправо, за перелесок, на свою огневую, начарту с ординарцем — на позиции приданной артиллерии: «Увязать вопросы на месте». Ушли далеко, и вдруг что-то толкнуло в сердце — именно сначала толчок в сердце, а после явился гул моторов... Обернулся. Там, куда ушел Зорин, километрах в полутора, восемь приземистых танков, казавшихся отсюда абсолютно черными, ринулись в стык стрелковых батальонов. А на стыке, словно поджидая своего часа, стояла на прямой наводке батарея приданных дивизионов. Добежать на свою позицию и открыть огонь?.. Помочь?.. Нет, не успеть! Да и, пожалуй, товарищи догадаются, что надо делать. А вот туда, на позицию дивизиона, сейчас ворвутся танки, сомнут...

Издали еще, с перехватывающим от спазм дыханием, пригибаясь в перебежках, отметил: несколько беглых разрывов взметнулось среди орудий, два-три солдата заметались по позиции, хотя все орудия стреляли по танкам. Увидел и начарта — он уже был возле батареи, высокий, прямой, словно знаменитый Паганель из «Детей капитана Гранта», и громовой голос долетел, покрывая грохот выстрелов и разрывов:

— Стой! Стой! К бою!

И подскокил к крайнему орудью. Здесь убило наводчика, заряжающего смертельно ранило осколком в грудь. Он все порывался встать к орудью и падал у пустых снарядных ящиков, умирал тяжело, с хрипом, с кроваво-пузырчатой пеной на губах.

— Командирам взводов! — прокричал Зорин. — Два орудия влево! Расчетам занять круговую оборону!

Сам он опустился на колени перед прицелом. Пока разворачивали орудия против левого крыла цепи танков, высылали свободных солдат с автоматами, карабинами и пулеметом в ровики перед позицией, Зорин поджег один танк. После задымили на левом фланге второй, третий... И тут шквальный огонь других батарей обрушился по площади: запылали частые разрывы. Вражеские автоматчики повернули назад, перебежали, падали, отползали, за ними, отстреливаясь, откатывались и танки. «Унесли ноги» только четыре, четыре других дымили черной мазутной копотью на отлогом сбеге лошадки.

Потом уносили убитых и раненых. Всего четырнадцать: шесть убитых, восемь раненых, как доложили начарту, сидевшему на снарядных ящиках. Майор был закопчен, перепачкан землей: его ударило взрывной волной. Молчал долго, точно окаменев, сломившись

высокой фигурой в шинели, впервые сидевшей на нем не столь изящно, потом, полубернувшись ко мне, с глухой болью сказал:

— Вот о каких людях писать надо будущим писателям... — Помедлил, отвернувшись, как бы раздумывая вслух, проговорил: — Чтoб такого никогда не было... Против войны сильная армия должна быть.

Никакой смены в тот день не вышло: гитлеровцы начали отходить, прижатые соседями, и нас ввели в наступление. К вечеру, передвигаясь на новую позицию, уже за Ной-Ленгбахом, натолкнулся на знакомую дивизионку. Батарея палила залпами, комбат в исступлении кричал:

— Огонь! Огонь! Огонь! — Увидев меня, сказал: — Это сволочам за ребят, за начарта майора Зорина.

— Как? В чем дело? — забросал его вопросами.

— Убит майор Зорин. Сел в доме поест, снаряд, кажется от «фердинанда», угодил в дерево во дворе, а начарт — возле окна...

...Много лет спустя, после войны, приехал ко мне из Ленинграда бывший командир стрелкового полка гвардии полковник в отставке Волков Владимир Иванович. Разговор — напролет, на всю ночь.

— Слежу, читаю, — взблеснув чуть подотцветшими голубыми глазами, сказал он упруго, по старой командирской привычке. — Не знаю, с кого взят образ Сергеева в романах, а вот угадываю, вижу в нем Зорина... Начарта не забыл?

— Как же забыть, — ответил ему, стараясь не спугнуть Владимира Ивановича с темы разговора, не желая выдать охватившего меня волнения: ведь он угадал — Зорина видел, чувствовал, помнил его слова, по нему как бы сверял многие мысли, работая над трилогией.

— Отмечаю! Как это? Красной нитью, что ли, проходит и в романе «Дайте точку опоры», и в «Ударной силе» мысль: сильная армия — против войны. Твой маршал Янов, генерал Сергеев, подполковник Фурашов — почти все проникнуты этим духом.

— Слова начарта — как завещание, Владимир Иванович... К тому же естественно: многие из нас в те годы приходили к такому выводу, не так ли?

— Верно, — подтвердил Владимир Иванович. — Я ведь тогда чудом остался жив — вместе в домике сидели, за две минуты ушел. Вот так! И день тот был, помнится, семнадцатое апреля...

Да, день тот был семнадцатое апреля сорок пятого года; день, как борозда, отмеченная не в памяти — прорезанная в самом граните...

1974

ТУРУХАНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Немного истории и географии

На памяти ныне живущего поколения произошла эта трансформация в представлении о Туруханском крае, теперь скромно именуемом районом в северной, низовой части бассейна реки Енисей. Еще в начале нашего века при упоминании о Туруханске в сознании тотчас возникали самые мрачные, ожигающие сердце картины: сибирская глухомань, край земли, «белое безмолвие». Неудивительно, что царским чиновникам край этот приглянулся как естественно и zelo надежное место содержания бунтарей-революционеров. Нет, не крепость за семью замками, не острог сродни знаменитым, с мировой известностью — Бастилии, Петропавловке, мрачному Тауэру, а Туруханская ссылка. И однако ссыльные, доставленные сюда этапом по единственному пути — великому Енисею, летом в грузовых баржах, зимой по ледовому тракту, запечатывались тут наглухо, точно в лейденской банке: полная недоступная изоляция от внешнего мира, побег исключался — всякий отважившийся обрекался на безусловную погибель, поскольку такого безумца ждали тысячи верст безлюдья, таежная дикость, роковые встречи со зверьем...

Туруханская ссылка, Туруханская высылка. Пожалуй, не было в ту пору революционеров, не знавших о ней, а крайне опасные крамольцы испытали ее, суровую и жестокую, самую безнадежную для изгнанников и самую надежную с точки зрения власти предержащих. Стоит Туруханск на обрывистом берегу Енисея, и в прошлом его деревянные приземистые домишки тесно сбивались к крутояру, как бы в необоримой боязни перед «черной» тайгой, в желании укрыться под «крылышком» батюшки Енисея, кормильца и поильца, сурового, с норовом богатыря, который даже при самом малом дыхании сиверко тотчас свирепеет, вздымая по стрежню грозные седовласые гребни. Подступив к крутояру, домишки словно бы замирали в восхищении и оторопи не только перед великаном рекой, но и пораженными иным чудом. Совсем рядом, слева, вливает в Енисей свои воды двумя руслами Нижняя Тунгуска, образуя овальный изумрудный остров Монастырский, и в щемяще-озаряющей яви представляется: темноликая трепетная красавица прильнула к богатырю, обвив его тонкими и нежными дланями, слившись с ним живыми токами навеки, навсегда.

Однако ссыльным, завершавшим долгий и тяжкий этап, или торговым людям с купеческих фелюг, подгребавших к берегу за «мягким золотом» — соболом, белкой, песцом, за деликатесной рыбой — нельмой, чиром, туруханской селедкой и тугуном, не открывались ни домишки, ветхие, засыпаемые зимой снежным

саваном, ни извилистые улочки, наводненные разномастем северных собак лаек, истинных хозяев пустующих улочек и подворий, — вставал на крутояре белый монастырь с двумя церковными маковками, сбочь — погост под ветрами и холодным небом, позади — деревянные с коваными дверями и окнами лабазы англичан — братьев Уайдлов. Словом, главные для той поры атрибуты духовной и экономической власти.

Политическая власть вступала в права позднее. Ссылные революционеры, сойдя на берег, являлись перво-наперво в присутствие: становились на учет. В присутствии — несоразмерно большой стол, точно бы утверждавший прочность и незыблемость устоев, чугунный, каслинского литья чернильный прибор возвышался на просторном поле стола; герб — двуглавый орел — под потолком, казалось, врос в засиженную мухами бревенчатую стену. Встречал ссыльных отдельный туруханский пристав, сухой, невысокий кавказец, в черкеске с газырями, узким, по талии ремнем с серебряными накладками. Имени-отчества его, пожалуй, во всей округе никто не знал — господин отдельный пристав Кибиров. Велик господин пристав, един во всех лицах: и законодатель, и исполнитель политической власти.

В «досмотровой» книге значились декабристы, позднее — известные революционеры, среди них — члены Центрального Комитета партии большевиков и большевистской фракции Государственной думы, разогнанной «за непокорность» царским правительством.

Яков Свердлов ютился в незавидной комнатке с небольшими квадратиками окон, печь голландку в ней топили зимой без роздыху, круглые сутки: под пятидесятиградусным морозом лопался лед на Енисее, и чудилось — били неведомо как доставленные сюда, за тридевять земель, крепостные орудия, — били будто для острастки, для напоминания: знай — даль дальняя, край заполярный, лютых морозов середина. На подворье выйти или того больше — отважиться пуститься в поход с местным рыбаком Михаилом Давыдовым, чтоб проверить подо льдом сети, — экипируйся обстоятельно, не наспех: поверх обычной одежды натягивай сокуйку, глухой с капюшоном комбинезон из оленьих шкур, шерстью наружу; становись на короткие и широкие лыжи, подбитые тоже шкурой оленя.

Аскетическая до безграничного удивления обстановка: деревянный топчан, стол, стулья, — все смастеренное местными умельцами; на столе под висячей керосиновой лампой томики Гейне, Шиллера, Тургенева, — читанные-перечитанные, уже изрядно помеченные жестокой печатью порчи. А через несколько дворов отсюда, во флигельке с крохотной комнаткой, которую занимал Сурен Спандарян, тоже член ЦК большевистской партии, сосланный в Туруханск на вечное поселение, почти те же книжки, что у Якова Свердлова, но еще и старенький самовар: сыну горной, благодатно-солнечной Армении

в белой стылости долгой зимы было неуютно и тяжело. Стыло и его тело, неотвратимо, час за часом сжигаемое чахоткой, и кипяток из певучего русского самовара оказывался короткой, но желанной благостью и наградой. Во флигельке к стене тулился второй топчан: из Курейки, что на сотню верст севернее, проведать товарища по ссылке наезжал на нартах, весь запорошенный, лишь угольно в обрамлении снежных кружев горели глаза, — Иосиф Сталин; гостю и предназначался топчан, ему уступалось и белое заячье одеяло. Кажется, что здесь все до пронзительной яви по сей день хранит живую и горькую историю: хранит галечная россыпь, по которой они ходили, до времени точно бы в невидимые капсулы спрессовавшая их голоса; протоколы политических собраний в условиях жестокой ссылки, письма с бунтарски-непокорными помыслами о будущем, — нет, не о своем, о будущем других людей. Даже тот угрюмый, как бы литой из чугуна, камень, утвердившийся в излучине Енисея, безъязыко, навеки стережет тайну роковой судьбы одного из них — Иосифа Дубровинского.

Идешь по нынешнему Туруханску, и не покидает тебя ни на секунду иллюзия: сейчас, сейчас вывернется из переулка, шагнет навстречу кто-то из них, и ты окажешься лицом к лицу с ним; или вдруг начинает невольно чудиться позади, за спиной, глухое болезненное покашливание: обернись — и вот он, идет с тобой, и твой шаг непроизвольно тяжелеет, путается, делается неровным...

А идешь ты уже не по тому заштатному станку с сонной и ленивой, без всплесков и взрывов жизнью, — новь вторглась властно, бесповоротно и сюда, еще не по столь уж давним понятиям, — в край земли, ссыльное, смертное место. Размеры района поражают воображение: на полторы тысячи километров протянулся он с севера на юг. И еще одна цифра — девятьсот долгих километров несет по району в Ледовитый океан свои воды Енисей, полнокровная, живительная артерия; в легкую пору ее рабочий пульс бьется четко и напряженно: река трудится с полной отдачей — шныряют катера, плывут гордые теплоходы, неторопко скользят самоходы, длинными штрихами морзянки растягиваются караваны барж, широченные ленты плотов строевого леса как бы текут в чинном равнодушии к деловой суете вокруг. Впрочем, и строительство районного поселка теперь строго и неукоснительно планируется, улицы выравниваются, обнаруживая разумную тенденцию: словно бы ручейки, они устремляются к своей извечной и надежной опоре — Енисею, но теперь уже не в прежнем желании — защититься от «черной» тайги, скорее, чтоб показаться, открыться своей обновляющей красотой — и батюшке Енисею, и швартующимся к дебаркадеру кораблям, сходящим на пристань деловым людям, шумным толпам туристов. Другие и застройки знаменуют нынешнюю статью поселка: не прежние бревенчатые, приземистые домушки, жавшиеся к спасительной тверди от лютых

морозов, буранных крутовертей,— встают двухэтажные, многоквартирные дома, распахиваясь в мир широкими оконными проемами,— и встают на диковинной для здешних мест индустриальной основе. Поселок принимает новожителей — рабочих и сотрудников научных, геологических экспедиций, тут они разворачивают свои базы.

И сама тайга посторонилась, отступила: теснит, напролом вторгается в ее, казалось бы, неизбежные пределы аэродром, потому что жизнь торопит, выдвигает стремительные задачи перед районом, и уж не справляется наличными средствами вертолетов, самолетов-«аннушек» местная авиация. Вот и обихоживается, расширяется аэродром, залиты свежие бетонные квадраты — стоянки для тяжелых вертолетов, достраивается ангар, удлиняется взлетно-посадочная полоса. Бульдозеры насыпают и профилируют ее полотно, и сейчас даже в разворошенности, вздыбленности угадывается: полоса врежется глубоко в тайгу, вознесется рукотворным крылом над ней.

— Будем принимать и современные пассажирские самолеты, и грузовые,— говорит первый секретарь Туруханского райкома КПСС Шадрин Александр Ефимович.— Особенно нам нужна рабочая авиация, авиация-труженица. Без нее как без рук.

В этих словах заключен вещей смысл: расстояния здесь меряются не километрами вовсе — отсчитываются в часах перелета. К тому же Туруханск становится сопричастным самым тесным образом к эпохальным преобразованиям, намечаемым партией на ближайшие десятилетия. А это, в свою очередь, ставит в зависимость и развитие авиации Заполярья. Нет, не только удаленность населенных пунктов, их разбросанность от водных артерий, что уже само по себе создает сложности экономических связей,— до иных поселений в течение всего года добраться можно лишь самолетами, а весной и осенью — только вертолетами,— но сегодняшние реалии и перспективы развития, в частности, расширения геологических исследований, ускоренные темпы разведки нефти и газа, других богатств здешних недр,— поставило на повестку дня и укрупнение местного аэропорта, и строительство по крайней мере десятка взлетно-посадочных полос в национальных поселках,— словом, это уже не завтрашний, а сегодняшний день.

Разведчики недр

Колено за коленом выписывает кажущаяся медленной, неторопкой Нижняя Тунгуска, но ленивость ее обманчива, да и ощущение медлительности скрывается лишь в низовьях,— а поднимись на сотню километров, и она обнаружит свою буйную крутость: Косой порог, Большой порог... Река могла бы оказать доброе подспорье

людям, стать важным и нужным рабочим цехом, однако дика и непреклонна она: только в короткий весенний паводок открывает путь мало-мальски серьезным караванам судов, а после прочно запечатывается, ходу караванам в ее верховье нет. Впрочем, и в низовьях характер ее далеко не тихий, есть там «чертова» место, известное жителям Туруханска: в пору большой воды тревожно-нутряной гул, вибрируя, заполняет всю округу, могучие лесины, сорванные где-то в верховьях, достигнув лихой черты — «чертова» места, словно бы проваливаются в бездну, за скалистыми поворотом вылетают пробкой,— голенькие, ошкуренные, без единого сучка, точно бы прошли самую искусную машинную обработку.

Крытый тентом «Прогресс» резво вспарывает ртутно-белесую загустелую воду, опытная рука Игоря Никитовича Абоева твердо направляет катер по зигзагам одному капитану известного курса, но, безусловно, что путь этот самый верный, самый безукоризненный. Невысок Игорь Никитович, но по хватке, уверенности тотчас признаешь в нем истинного северянина: скроен крепко, ладно, привычен ко всем внезапным капризам здешней погоды, обучен самими условиями управлять катером, трактором, собачьей упряжкой, мастерски орудовать ножом, стрелять и разделять рыбу, зверя, мастерить «в два счета» плот, добротный ночлег, в дождь и пургу вздуть спасительный костер, сгношить чай, заправленный добытыми под рукой растущими шиповником, зверобоем, душицей.

Дождит, и под светлыми дробинами вспухает, пузырится за каждым коленом-поворотом река, сизая дымень висит плотно, недвижно над водой. Каменистые, срубленные берега темны, и кажется, это не берег — агат, не дошлифовав, вправили в золотую оправу: осень охряно изжелтила лес поверху берегов, отмыла, отлакировала,— все охвачено желтым бездымным пламенем. В пасмурь, обложившую, судя по метеосводкам, весь обширный край, а в порту Игарке даже выпал снег — первое напоминание о близкой зиме,— разговор наш плетется неспешно, прерывисто: тоже приметная черта северян — попусту, на ветер, не сеять слова. Вот и жду терпеливо, не желая ненароком спугнуть настрой Игоря Никитовича, разрушить непрочный склад беседы.

Молод он, однако за десять лет после окончания геологического факультета Иркутского университета успел побывать в разных, как говорится, должностных ипостасях: сначала исходил вдоль и поперек Эвенкию, в которой родился, а теперь измерил и всю трехтысячеверстную иззубренную, словно бы упруго-кольчатую и норовистую Нижнюю Тунгуску. Измерил на лодках, на плотах, просто — пешим ходом, выверяя науку практикой, упорно доискиваясь до «черного золота», постигая немудрящую философию, выраженную в двустроичии песенки:

И чтобы жить километрами,
А не квадратными метрами...

Абоев — начальник Тунгусской комплексной геологической экспедиции, созданной лишь в этом году, но фронт работ ее, словно сказочный великан, растет не по дням, а по часам. Экспедиция осваивает целинные районы по рекам Котуй, Кочучум, на Тахомской площади; только по структурному бурению план нынешнего года установлен в шесть тысяч метров, на будущий год — десять тысяч метров. Еще совсем недавно разобщенные партии и отряды жались к Тунгуске, ныне они рассредоточиваются, вторгаются в глубь тайги — уходят дальше палаточные города геологов, буровые вышки, а вместе с ними и балки — деревянные, сшитые на полозьях домики.

И невольно перед глазами возникает узкая вытянутая карта, что висит в кабинете Александра Ефимовича Шадрина, на ней — удлинненные и изогнутые темно-оливковые «отмытые» пятна — вероятные скопления нефти, а рядом чарующие, гипнотизирующие своей непонятностью названия: Тунгусский региональный прогиб, Курейская синеклиза... Отмытые ретушью оливковые пятна плотно усеяли карту, плотно же, по огромной территории синеклиз и прогибов, рассеяны отряды и партии экспедиции.

И все же бойким сдается движение по Тунгуске: ничего не поделаешь — как ни крути, а главная доля взаимного общения «разведчиков недр» приходится на «голубые артерии». То и дело обгоняем суда или проходим на встречных курсах с разномастными моторками, плотами, катерами, и везде — люди, в спецкостюмах, с нарукавным знаком — изображением буровой вышки, «зеленого моря тайги», голубого неба и белых букв «МГ СССР» (Министерство геологии СССР) — «сеймики», «геофизики и геохимии», «магнитики и радиоактивщики»... Ночью на наш костер, от берега, словно из абсолютной черноты, выступили двое, чем-то напоминающие водолазов, — научные сотрудники одного из московских институтов Академии наук. Обсушились и обогрелись, подкрепились чаем, одолжили (безвозмездно) бензина, и с пасмурным, квелым рассветом их «корабль» (две резиновые жестко связанные лодки) отправился дальше, к Туруханску. Именно вниз, по течению, бойчее движение: к зиме сворачиваются полевые работы. И забот у начальника экспедиции неизмеримо прибавилось — вызволять с дальних точек, с огромной «акватории» партии и отряды на зимовку, доставлять геологов и оборудование на главные базы: уже не в полевых, а в стационарных условиях будет продолжена важная часть дела — обработка материалов по многочисленным опытам, анализам взятых проб; в муках люди станут отыскивать выводы, выявлять закономерности... Нынче разведка и поиск нефти ведется не наобум, не в прикидку — примат науки здесь бесспорный.

Поиски, разведка нефти ведутся широко и нарастают с завидным ускорением — не в арифметической, пожалуй, а в геометрической прогрессии, однако вполне уместно задаться вопросом: что уже сделано, какой предварительный «приговор» выносят разведчики недр? Подумалось, что вопросы окажутся непростыми для Игоря Никитовича, — в них заключена все же опасная прямолинейность, — но заговорил он легко, вероятно, ждал вопросы, был готов к ним.

— Восточно-Сибирская платформа сложна — на каждом шагу загадки. Не скучаем! Никакие известные сравнения не подходят. Привычные аналоговые методы поиска и определений тоже не годятся. Геологическая структура. Структура! — повторил он. — Сложна, капризна и неожиданна — вот и все по-новому, все сначала, от нуля. И все же нефть есть! Сухо-Тунгусская площадь дала, а газоконденсат получен из скважин на Володинской и Нижне-Летнинской площадях.

Появится нефть, ударит как бы из могучего брандспойта чернотрепанный густой фонтан — и ничто с этим событием не сможет сравниться по эмоциям, никакой праздник, никакое, пожалуй, даже эпохальное ликование: с людьми, освободившими из недр желанного и многотрудного «джина», творится невообразимое.

Куюмба... Место сейчас знаменитое, а до того времени — всегонавсего точка на рабочей схеме геологов, в реальности же буровая вышка, редкая высь балков в медвежьих крепях Подкаменной Тунгуски, сестры Нижней, — в ста двадцати километрах от Байкита. Снег в ту зиму лег основательный и глубокий: ступи с тропки, пробитой от балка к вышке, — тотчас в белом сыпучем пуху по поясу. Мороз настоялся крутой, как бы утвердившись прочно, на зиму, — сорок ниже нуля! И воздух каленым пламенем ожигал горло, и снег под ногами расступался сухим порохом. В натопленном, угретом балке, источавшем смолистый дух дерева, скорее не услышали торжествующий клик: «Не-е-э-э-эфф-ть!» — догадались, казалось, по внезапно зазвучавшей здесь, в балке, невидимой струне — звук взвился высоко, на вибрирующей ноте. Кто был в балке, переглянулись, бросились в банный пар, опавший встретить, из двери, на бегу натягивали фуфайки, куртки...

Фонтан бил отменный. Обнимались, кричали, мазали остро пахучей, густой нефтью руки, лица, в обнимку рухали в зыбучий сухой снег. Ночью, налитая в ведра, нефть полыхала факелами, и живые багровые блики озаряли снег и тайгу.

Тогда тут был не только Игорь Никитович, оказался и Шадрин Александр Ефимович, в ту пору занимавший пост второго секретаря Эвнейского окружкома партии.

И верно, все болей движение разных суденышек вниз: сплывают на базы «сейсмики», «геофизики и геохимии», «магнитики и радио-

активщики», а их собратья из более отдаленных районов эвакуируются по воздуху — на самолетах, вертолетах: идет с задания, возвращается на зимние квартиры великая рать «разведчиков недр». На своих местах остаются лишь буровики: им одним неведома сезонность.

Первонаселенники края

Народ этот уникален и малочислен, первым освоил бассейн Енисея, обжил берега его притоков, озер, тайгу и тундру Туруханского края, и в ряду еще пяти других разбросанных по земле народностей — баски, айны, японцы, буришки, андаманцы — кеты привлекают к себе самое пристальное внимание не только советской науки, но и специалистов-этнографов в разных частях света. Прежде всего язык кетов ставит исследователей перед серьезной и щепетильной загадкой: он не обнаруживает никаких корневых связей и зависимостей от других языков, известных на Земле. Да и численность кетов может привести в крайнее изумление: в Туруханском районе их насчитывается всего семьсот восемьдесят девять человек, к этому прибавьте небольшое количество живущих в местечке Суламая, что в соседней Эвенкии,— вот, пожалуй, и все.

Народ, исчисляемый на Земле всего одной тысячей...

Кеты — искусные охотники и рыбаки, раньше кочевали по рекам, тайге в поисках рыбы, зверя — соболя, белки, песца, и быт их был отмечен самыми простыми, неприхотливыми чертами: зимой довольствовались чумом, летом обходились бязевыми палатками. Теперь же прочно, без оглядки приняли оседлость, объединившись в госпромхозы, расселены в поселках Келлог, Сургутиха, Серково, Мадуйка, зверя же промышляют на «своих» участках — за сотню, а то и более километров, в охотничьих избушках-зимовьях. Именно в эту пору в преддверии первого снега, когда вот-вот грянет ему срок пасть, районные власти деятельно мобилизовали все средства — водные и авиацию, — чтоб доставить охотников и все необходимые припасы на участки, к зимовью, на весь срок зимней охоты.

Мадуйка... С воздуха кажется, что кубики домов прилепились к береговой черте озера, точно колония ласточкиных гнезд к карнизу: озеро большое, вытянутое на десятки километров, с лесистым островом, похожим — тоже с воздуха — на изящно поставленную, в туфельке, женскую ногу. Взбив поплаватками две крутые волны, гидросамолет подруливает к пристани рыбоприемника: на дощатых мостках по-деловому суетятся люди, выставляя в ящиках, залеplенных серебром чешуи, свежую рыбу — пелядь, чира... Рыбу погрузят, и самолет возьмет курс на Туруханск, к причалу рыбозавода.

Поселок новый, добротные, на четыре квартиры, дома отливают на солнце восковой свежестью дерева, вписаны в таежный пейзаж естественно, даже пластично,— возникла как бы певуче — возвышенная гармония леса, воды, жилья. Здесь, в Мадуйке, трудятся рабочие одного из участков Туруханского госпромхоза. Да и возник, продолжает расти и строиться поселок совсем не по случайности или наитию: еще три года назад участок совхоза базировался в Серково — деревушке, обветшавшей вконец, к тому же утратившей свое прежнее экономическое значение,— далеко от озера и рыбы, от охотничьих, отступивших угодий, вот и возникло решение, с воодушевлением принятое «первонасельниками»: семьям кетов переселиться на Мадуйское озеро, основать новый поселок.

Конечно же, все сумму множества и нелегких забот, тотчас возникших за этим решением, государство целиком и безвозмездно взяло на себя.

Завершив срочную службу в рядах Советской Армии, добрались сюда, в Мадуйку, два товарища, два друга — Александр Москвин и Петр Гуцал, огляделись: места суровые, мужественные и красивые, под стать людям, их характерам, вылепленным и закаленным в постоянных борениях с безжалостной, свирепой природой,— и остались. Поначалу обосновались на просторном и тихом острове, постигали рыбацкое и охотничье мастерство — определять ход рыбы, ставить сети, выслеживать зверя, ладить капканы, скрадки.

А после поженились на родных сестрах, дочерях коммуниста Дмитрия Гавриловича Серкова, берущего свой корень от «долгого» рода кетов, большого мастера-охотника, у кого «глаз верный, рука крепкая».

Так уж случилось, что Петр Гуцал уехал в отчие места, на Украину, увез и Анну, и на далекой отсюда Полтавщине пойдут в рост отпрыски загадочного и мужественного рода кетов.

А у Александра с Ольгой уже растет сын: светловолос — в отца, а глаза — темные и глубокие агатины — прямая и несмываемая материнская метина. И Москвин теперь уже не просто Александр, а Александр Васильевич, начальник Мадуйского участка совхоза, возмужалый, обветренный, точно заправский мореход, и одевание по лику: жесткая брезентовая штормовка, высокие, под пах, резиновые сапоги.

Тоже молодой — до тридцати далеко — и председатель поселкового Совета в Мадуйке: Юрий Иванович Черков, из первонасельников-кетов в противоположность Александру Москвину,— жгуче темноволос и остронос, с приметным узким разрезом глаз. Однако есть у них, оказывается, общее.

— Энергичные и беспокойные,— говорит о них Александр Ефимович Шадрин.— Не ошиблись, выдвинув молодых. Доверие людей они оправдывают: Мадуйский участок по плану рыбодобычи

постоянно плелся в хвосте, отставал, нынче положение резко изменилось — вот, пожалуйста. — И он показывает на доску, отражающую и планы, и достижения участка. Что ж, цифры неоспоримы, они явно говорят о движении в гору, тут, что называется, факт — вещь упрямая. — Настоящие вожаки! — добавляет негромко Шадрин, в интонации его — и уважение, и сдержанная радость.

Молодые — настоящие вожаки... Это свойственно краю, который и сам-то переживает пору возрождения, стоит на пороге пока что еще во всей полноте неохватных даже воображением дел и ждущих своего часа значительных свершений.

Свершения, ждущие своего часа

Они настойчиво и властно стучатся в дверь времени. Стучится не только нефть, о которой Игорь Никитович Абоев сказал, что его товарищи, разведчики недр, «чувствуют ее, слышат», но и то другое, о чем здесь, в Туруханске, — в райкоме партии и в разнообразных организациях, пока еще мечтают, хотя активными устремлениями уже способны обращению будущего в реальность, недалекую, зримую.

Вертолет, круто кренясь, делает плавные круги, и с птичьего полета отлично, во всей красе взору предстает Курейка — от пенящегося, бурунного порога (кажется, что гул его пересиливает грохот двигателя) до узкого, сжатого скальными берегами перешейка — створа будущей гидростанции. У порога — поселок изыскателей и проектировщиков графитового рудника. Когда-то прямо в черте поселка добывали графит, и печальная память о том — «колодцы», запечатанные дощатыми крышками, и предупреждающие таблички: осторожно — старая шахта... Старожилов, помнивших те далекие времена, когда тут примитивно промышляли графит, в поселке нет — народ все новый и опять же молодой. Рудник в свое время закрыли по причине бесперспективности, а сейчас проектируется новый в километре отсюда — проектируется на современной индустриальной основе: огромный пласт графита будет разрабатываться открытым способом — вспорют земляной десятиметровый слой, и, пожалуйста, выбирай чистейший графит. К пристани на берегу Курейки проляжет бетонная дорога, по ней потечет целая графитовая река: триста тысяч тонн в год! И срок этот не за горами.

А пока на неощутимом под зыбистой заполярной землей пласту графита, в лиственничном окружении, вырастают улицы — зеленые, красные, оранжевые — Светлогорска, временного поселка гидростроителей. Дома поселка складываются как бы из деталей великана конструктора: наращиваются целыми кубиками-квартирами. Сварили один с другим несколько «кубиков» — нижний этаж; укладывают, спаривают следующий этаж... А яркая окраска домов тоже неспроста:

зимние полярные ночи, пурги, беснующиеся по несколько суток кряду, пресекающие видимость до нуля, — вот и ослепительная, бьющая в глаза расцветка домов улиц.

Бажанов Виктор Евгеньевич поджар, суховат, однако и на свежем, ледящем ветру — без головного убора, тоже сказывается закалка: хотя и москвич, однако двадцать лет кочует по сибирскому Северу. Его труд весомыми и прочными «кирпичиками» впрессован в такие гидростанции, как Мамаканская, Вилюйская, Хайтайская, ныне на очереди новая — Курейская.

Начальник Курейгэсстроя — потомственный строитель: отец его прокладывал канал имени Москвы — гидрокомплекс первых пятилеток, решивший проблему снабжения водой Москвы; впрочем, и две дочери Виктора Евгеньевича не рушат семейную традицию, готовятся продолжить дело деда и отца, учатся, станут строителями. Конечно, на столь четком выборе ими профессии сказались добрые семейные устои, но кто знает, возможно и другое: неведомый, но обнаруженный пока еще своего рода ген «преобразователей». Ведь родились они на стройках, изменяющих в корне этот великий сибирский край: одна — на Мамаканской, другая — на Вилюйской.

На створе, где встанет почти стометровая громада плотины гидростанции, тишина и покой, и ничто эти утвердившиеся от века устои пока не нарушает, и, сжатая гранитными берегами, река несет упругие, жилистые, в жгуты скручивающиеся струи, но размеренность и покой — предгрозовые: завершится разработка «диспозиции», будут подтянуты силы и средства, строители займут, как водится, исходные позиции, — начнется штурм и этой северной реки, штурм во благо расцвета сибирского Заполярья.

А энергию ее ждет не только с каждым днем мужающий богатырь Заполярья — Норильский горно-металлургический комбинат, но и разведчики недр, а после и нефтяники, и будущие добытчики графита, и нынешние промысловики «мягкого золота».

— Тут найдут применение и новинки, — рассказывает Виктор Евгеньевич. — И ускоренное возведение плотины, и особенность в проектном решении водовода, в сооружении здания ГЭС...

Оказывается, здание ГЭС не будет, что называется, открытым всем заполярным невзгодам — пургам, снегопадам, трескучим морозам: оно надежно укроется в глыбы левобережной скалы. В сонной своей дреме, обрывистая, отвесная, с косым слоистым рельефом, щетинящаяся по вздыбленной хребтине редколесьем, скала словно бы лишь осторожно чует извечный и однообразный перезвон струй реки и не ведает нимало, что скоро в ее глубины строители начнут мощный прорыв, смело и разумно, со временем возведут в ее недрах просторный светлый дворец — машинное отделение. И скала смирится, станет для людей надежным и прочным домом, доброй их хранительницей и помощницей.

...Вертолет, натужливо взмахивая лопастями, медленно набирает высоту, и до внезапной пронзительности почудилось, будто летчикам в телепатическом согласии передалось остроигольчатое желание: оглядеть еще и еще раз с высоты, со всеми сокрытыми далями этот удивительный край — седого и мудрого старца с гнетущей, как само гранитное плато внизу, прошлой судьбой, и вместе — с той уже реальной новью, какая открыта взгляду в дне нынешнем и какая видится не затененной, прозрачной, не искаженной дымкой дали — в дне завтрашнем.

1977

ВОИН И ЛИТЕРАТУРА

В 1968 году под Ленинградом собралось около шестидесяти писателей России, чтобы обсудить проблемы военного романа. Один из выступавших привел интересный факт: оказывается, во всем жанровом многообразии советской литературы, в щедром ее потоке весьма значительную долю составляют книги на военно-патриотическую тему.

Такое сообщение никого не удивило, наоборот, оно было воспринято как правомерное, и, возможно, многие тогда подобно автору этих строк подумали вот о чем. Если литература призвана отражать жизнь и чаяния народа, если она стремится быть поистине народной — а такой и только такой должна быть советская литература, — то, естественно, она обязана следовать беспримечной героике нашей жизни. Ведь за сравнительно недолгую в исторической сопоставимости судьбу первого в мире социалистического государства нашему народу не раз приходилось по суровой необходимости покидать цеха и леса новостроек, оставлять в борозде плуг и брать в руки оружие, чтобы отстоять свою честь, свободу и независимость. Ясно, что, следуя этой правде жизни, отражая жизнь в ее многогранных проявлениях, советская литература всегда обращалась и обращается к военно-патриотической теме. Тот, кто вынужден строить крепость и постоянно ее укреплять, чтобы оставаться сильным и необоримым перед лицом жестокого врага, должен денно и нощно заботиться не только о винтовке, но и в не меньшей степени о духовном состоянии, духовной вооруженности защитников Родины. Потому-то дело патриотического воспитания чрезвычайно важно.

Военно-патриотическая тема — вообще в традиции русской советской литературы. Достаточно вспомнить «Чапаева» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова. В годы

Великой Отечественной войны и в послевоенный период создано много замечательных произведений, прочно вошедших в сокровищницу советской литературы. Писатели, обращающиеся к теме Великой Отечественной войны, не только возводят литературный памятник, увековечивающий подвиг советского народа, но и прежде всего заботятся о военно-патриотическом воспитании людей, особенно молодого поколения.

Однако и писатели, которые свое перо, свои помыслы и талант посвящают «человеку с ружьем», в мирное время стоящему на часах, чтоб никакая случайность, никакая неожиданность не застала советских людей врасплох,— и эти писатели исполняют отнюдь не второстепенную роль в литературном ансамбле: писать о сегодняшней армии — значит безусловно и неоспоримо вносить лепту в военно-патриотическое воспитание.

Правда, отряд литераторов, активно пишущих о современной армии, невелик: их можно, как говорится, пересчитать по пальцам. И это в известной мере не случайно: часто приходится слышать о трудностях воплощения характера современного воина в литературе.

Трудности художественного отображения сегодняшней армии существуют реально. Они порождены, с одной стороны, объективной сутью происшедших и происходящих в ней за послевоенные годы процессов. С другой стороны, существуют и субъективные причины, и они коренятся главным образом в способности писателя проникать в глубины жизни современной армии, в степени их художественной зоркости и талантливости. Естественно, что такого рода субъективные и объективные начала с неизбежностью сказываются на конкретных произведениях.

Литература об армии наших дней давно ждет разговора глубокого и вдумчивого, строгого и заинтересованного. К сожалению, наша критика редко анализирует произведения о современной армии. Если случается все же что-то сказать, то говорится лишь походя, как о «штрихах» на красочном полотне всей советской литературы. Даже на высоких писательских форумах нередко проходят мимо книг о современной армии.

Критика, литературная общественность могут и должны заботливо поддерживать и направлять литературу о современной армии. Без зерен, брошенных в добрую почву, не бывает всходов, без соответствующей обработки всходам не превратиться в зрелые колосья, без тонкого, вдумчивого анализа и отбора, подобного тому, каким занимаются селекционеры, нельзя пожать урожай новых рассказов, повестей, романов об армии.

Вряд ли можно вести разговор о литературе, связанной с сегодняшней армией, не оглянувшись назад, не выявив питательную среду, на которой выростала эта литература.

Свежей восточкой, как бы открывшей двери новому направлению в литературе и позволившей вдохнуть живительный глоток воздуха мирных дней, явилась повесть Ивана Стаднюка «Максим Перепелица». Она оказалась и первой вехой в литературе о современной армии. Однако повесть еще основывалась на привычных армейских укладах, не отражала да, по существу, и не могла еще нести в себе заряда тех бурных, обновляющих явлений, накануне которых уже стояла наша армия, готовившаяся к встрече напорно мощного технического прогресса, и с которыми после она пройдет рука об руку торжественным, но и сложным маршем.

Появление атомного оружия не могло не повлечь за собой существенных изменений в армии — структурных, моральных, психологических. Помнится, в тот период в частях и штабах широко обсуждалось то принципиально, качественно новое, что было связано с этим оружием. В литературу приходят военные люди, непосредственно связанные с перевооружением армии. Взять хотя бы героев романов «Наследники» Михаила Алексеева и «Сильнее атома» Георгия Березко.

Атомное оружие потрясло воображение человека, предъявило особые требования к силе и стойкости солдата, к интеллектуальным и моральным качествам командиров всех родов войск. Это и было показано в названных книгах.

Вместе с тем заслуга авторов и стойкая живучесть этих произведений, по-моему, определяются и тем, что их герои вобрали, использовали то, что было раньше, что предшествовало им, — боевой опыт войны. Для героев этих произведений характерно органическое соединение уже существовавших в армии и прошедших проверку временем традиций с новыми проблемами.

Атомное оружие, словно в цепной реакции, повлекло за собой стремительную разработку ракетной техники как главной, иначе говоря, ударной силы, способной нести атомный заряд практически на неограниченные (по земным масштабам) расстояния. Вместе с тем началось бурное развитие не только ракетной техники: появились атомные подводные лодки, сверхзвуковые реактивные самолеты, разнообразная электронная техника. Началась научно-техническая революция в военном деле.

...Офицеры (автор этих строк в их числе) съезжались в новую академию, зачастую еще по-фронтовому одетые: одни — в полевых гимнастерках, другие — в неформенных, сшитых из «хэбэ» кителях, третьи — в зеленых «английских» шинелях. Словно улей, гудели этажи каменного здания дореволюционной судебной палаты. Недавние фронтовики в одиночку и группами штудировали позабытые за эти годы науки — алгебру, физику, химию. Сквер перед зданием с рассвета «брался штурмом»: офицеры облепляли беседки, устраива-

лись целыми колониями прямо на траве, разложив вороха учебников, тетрадей. Мы жаждали стать инженерами, специалистами совсем новой — радиоэлектронной — техники. Окончив академию, разлетелись по армейским весям: на полигоны, в военную «приемку», на ракетные комплексы. То были реальные посты революции в военном деле, на которые она расставляла нас, своих полпредов...

Этот этап, начавшийся в пятидесятые годы, круто, со взрывчатой силой продолжается и сейчас.

Лавиноподобные процессы, происходившие в армии, не могли не обратить на себя внимание литераторов, стремившихся отразить эти процессы, показать всеми гранями и во всех ракурсах их движущую силу — человека, героя наших дней. И тут не обошлось без трудностей и осложнений: он, этот герой-современник, оказался крепким для литературы орешком. Он поставил перед ней целый ряд невиданных до сих пор, непривычных проблем, перед которыми поначалу писатели останавливались в смущении и удивлении. Лишь со временем это смущение медленно рассеялось, и литература стала нащупывать подступы, искать свои тропинки к новому герою.

Нет, о смущении здесь сказано не ради красного словца. Достаточно вспомнить, как совсем еще недавно весьма серьезно велся спор о «физиках» и «лириках». Кое-кто утверждал, будто в век технического прогресса люди делятся на «физиков» и «лириков» и что удел, мол, писателей «иметь дело» с «лириками», а что касается «физиков», то кто же-де их разберет. Очевидную беспочвенность такого спора разрешила сама жизнь: у атомного реактора, у ракеты, в кабине сверхзвукового перехватчика-ракетоносца «физик» — действительно физик, а покинул свой сугубо технический пост — и он лирик, берет в руки томик стихов, роман, спешит на концерт.

Да, человек своим гением способен проникать в тайны природы, открывать новые законы, творить невиданные технические устройства, отдавая при этом своему детищу всего себя, весь жар души. Но известна и обратная связь: техника, характер труда, в свою очередь, оказывают воспитующее воздействие на человека, на его эмоциональный склад, тем самым способствуют формированию личности. И тут мы приходим к одному немаловажному выводу: чтобы понять современного подводника, летчика, ракетчика, людей других военных специальностей, чтобы понять их внутренний мир, поступки и поведение, надо знать смысл, сущность их труда.

...Офицера Макарова в академии звали «гигантом», хотя внешне ему до гиганта было далеко: маленький, худенький, щупленький; на кроссах в лесопарке, куда выходили всей академией, он быстро выдыхался, плелся в хвосте. Товарищи «толкали» его срезать углы трасс, чтобы он не «срезал» оценку всему курсу. Но интегралы он брал с ходу, «роторы» и «дивергенции» в ТЭМПе (теории электромагнитно-

го поля) «крутил» с завидной чистотой. Ко всяким научным истинам у него было свое отношение, свой взгляд на них.

Помнится, во главе экзаменационного стола сидел доцент З., близирукий, худой, одетый в выцветшую гимнастерку, выше кирзовых голенищ — матерчатые надстрочия офицерских галифе.

— Достаточно. Ваш матрикул. Отлично.

— Я бы хотел, товарищ доцент, дополнить о дифракции.

— Я же сказал: отлично.

— Но у меня дополнение...

— Ну что ж... дополняйте! — И доцент демонстративно простучал сапогами, выходя из аудитории.

Макаров, не смутившись, отчеканил все, что думал, перед ассистентами, и, видимо, это было не ординарное дополнение, потому что один из ассистентов тотчас же выскочил из аудитории, разыскал доцента, и тот вернулся удивленный. «Повторите ваши дополнения!» Макаров не моргнув глазом с достоинством ответил: «Я уже их забыл, товарищ доцент».

Ни для кого не явилось неожиданностью, что Макаров после академии попал по распределению на научную работу. С ним-то мы и встретились позднее на полигоне. Он по-прежнему работал в одном из научно-исследовательских учреждений.

Сформированный техническим прогрессом как личность и вместе с тем сам же и явившийся движителем этого процесса, Макаров стал прототипом одного из героев моих романов «Дайте точку опоры» и «Ударная сила».

Современное оружие вызвало к жизни не просто солдата, офицера, а техника, инженера с широким техническим кругозором, того самого «физика», для которого у ракеты, в атомной подлодке возникают нередко ситуации, когда недостаточно нажимать кнопки, переключать тумблеры, крутить штурвалы, требуется напряженная, мгновенная реакция и психологическому взлету работа — работа не скромного исполнителя, а ученого. Конечно, боевое применение, эксплуатация новой техники максимально автоматизированы, но непреложен обратный закон: чтобы нажимать кнопки, переключать тумблеры, мало даже тончайших знаний всей «анатомии» той самой ракеты, с виду покорной и ручной; надо еще учитывать, что у каждой такой ракеты есть что-то от своего «характера», своего «норова». И, как уже было сказано, такая техника принимает участие в формировании человека, его облика, его внутреннего «я». В этом смысле научно-техническая революция в военном деле представляет собой неисчерпаемый кладёзь тем и «горячих точек» для литературного проникновения, для писательского исследования.

Есть и еще одно обстоятельство, с которым нельзя не считаться: несмотря на все серьезные изменения и взаимовлияния, остается неизменным известное положение, что сознание, психология человека «запаздывают», «отстают» от бытия, в данном случае — от быстрых качественных изменений всего армейского уклада. Новая техника требует и более высокого сознания: нельзя, обладая прежним сознанием, встать вровень с современной техникой. Подобное противоречие, разрешаемое самой жизнью в конкретных обстоятельствах армейской действительности каждый день и каждый час, тоже предоставляет весьма интересные и заманчивые возможности для художественного раскрытия этого явления.

Воинской службе наряду с тяготами повседневного ратного труда всегда был присущ дух романтики, дух героики. В предвоенные тридцатые годы романтика и героика моря и неба привлекали во флот и в авиацию, как правило, лучшую часть нашей молодежи, для которой воинская служба, защита Родины становились делом и смыслом всей жизни. Этому в немалой степени способствовала тогдашняя литература, не чужавшаяся ежечасных свершений, рожденных предвоенным бурным временем. Стоит вспомнить такие морские и воздушные эпопеи, как спасение экипажа ледокола «Красин», папанинский дрейф, знаменитый перелет Чкалова со своими товарищами в Америку, мужественный полет летчиц Гризодубовой, Осипенко и Расковой... Кто из молодых людей тогда не знал во всех подробностях эти героические дела, кто не мечтал стать похожим на Чкалова, Леваневского, Молокова, Каманина, Папанина? Героев тех дней знали буквально все, знали во многом благодаря умелому, верному по своей воспитательно-патриотической направленности, активному вторжению в каждодневные дела народа нашей литературы, особенно документальной (пример тому — создание двухтомника «Поход «Челюскина»).

Но разве армия семидесятых годов дает меньше примеров романтики и героизма? Нет и еще раз нет! Высоких подвигов совершается неизмеримо больше, однако романтика службы, героизм воинского труда не получают должного раскрытия, зачастую оказываются неизвестными для широкого круга людей, и, что особенно огорчительно, для молодежи. По-прежнему героическими и романтическими остаются профессии летчика и моряка. Только, пожалуй, они стали во сто крат сложнее. Известно ведь: рождение героизма связано с проявлением воли, характера человека. В этом смысле в армии наших дней нередки ситуации, более чем достойные самого щедрого пера литераторов.

А новые профессии!

Например, специальность ракетчика открывает перед пытливым художником широкий мир романтических и подлинно героических свершений, мир мужества, самообладания, выдержки.

Нередко ракетчики живут и трудятся в таких условиях, в которых только сознание долга, любовь к технике, к своей профессии способны стать неизбывным родником сил, энергии и верности своему поистине подвижническому, хлопотному, но романтическому делу.

В недавней поездке на Север я познакомился со старшим лейтенантом Владимиром Ратушным. Познакомился возле казармы, приютившейся на склоне каменного взгорья. Открытый ветрам и пурге, на том взгорье стоит ракетный дивизион. Сам старший лейтенант, высокий, улыбчивый, обоженный ветрами и морозами, многократно «переслужил» все положенные сроки в этом суровом краю. Был солдатом. Экстерном окончив училище, вернулся добровольно сюда же. Теперь заочно учится в академии. На вопрос: «Не надоело ли тут?» — ответил просто: «Нет. Люблю технику и этот край. Мы на передней линии».

Поддержание высокой боевой готовности, несение каждодневного боевого дежурства, выполнение и в мирное время боевой задачи, чтоб никакая внезапность не могла застать врасплох, — это приметы обычных, будничных дел ракетчиков. Но в этих буднях войны нередко оказываются лицом к лицу с трудностями и побеждают.

Испытатели ракет — тоже новая и удивительная профессия, рожденная технической революцией в армии. Это люди особого склада, люди, кому весьма часто требуется идти на риск, идти сознательно. Они рискуют, чтобы досконально узнать ракету, опробовать ее, что называется, по всем швам, уверовать в нее, чтобы меньше затем рисковали другие. Естественно, что тут возникает немало случайностей и опасностей, потому что, как говорят испытатели, ракета иногда поступает «по закону подлости»: попробуй предугадать, когда и на каком этапе испытаний она проявит себя, свой «характер». Но сколько же за мужественными и героическими актами испытаний оказывается значительных свершений, которые обогащают и продвигают технические достижения!

Весьма существенные явления и события определяют сегодняшнюю армейскую действительность, но главное — новые люди. И тут, по-моему, особенно важным для писателя становится определение угла зрения, под которым рассматривается эта действительность, отношение писателя к героическому и романтическому началу службы в армии. Видит ли он в человеке в шинели именно такое начало или нет? К сожалению, в некоторых произведениях о современной армии мы находим не героiku многогранной армейской службы, а лишь явно смещенную в сторону бытовизма «натуру». Замечается увлечение не глубинными, органически свойственными нашему воину чертами характера, а обнаруженными на поверхности признаками и деталями. Очевидно, это происходит, когда писателю не хватает зоркости, умения глубоко проникнуть в суть жизни. Тогда

по своему произволу, а не по логике жизни он погружает героев в удушливую атмосферу быта, не видя главного.

Вряд ли можно всерьез думать, что человек способен вести двойную жизнь, на крайних полюсах: быть героем на службе и мелким, убогим в быту, погрязать в пьянстве, склоках, невежестве и тупости. Нет, такой «герой», безусловно, не совершит подвига при испытании ракет, не сядет в кабину сверхзвукового истребителя, не станет в ответственную минуту у ракеты!

Бытовизм неизбежно приводит писателя к идейно-художественным просчетам, поэтому при всей, казалось бы, сложности выведенных характеров открытия не получается, мы не видим здесь людей в процессе труда. Да, наверное, и не случайно такой писатель уводит своих «героев» из сферы труда, уводит сознательно, поскольку в противном случае со всей очевидностью обнаружались бы глубинные просчеты, допущенные им.

В ряде произведений замечаешь смешение, отождествление разных по своему уровню нравственных качеств и черт человека, таких, как честность, мужество, героизм. Правда, и разделять их надо с осторожностью, но нельзя смешивать, ставить знак равенства между этими отнюдь не одинаковыми качествами.

Допустив заведомое огрубление, можно сказать, что проявить, положить, честность по самой сути и природе человеческой куда более естественно и просто, чем оказаться способным на мужественный поступок, — в последнем случае уровень морально-психической «зарядки» иной, он значительно выше. Проявить же героизм, что сопряжено с риском для жизни, с вопросом «быть или не быть», — для этого уже надо получить зарядку самыми высокими токами.

Героизм Кожедуба, в лоб идущего на вражеский самолет; героизм советских летчиков капитана Капустина и старшего лейтенанта Янова, погибших недалеко от Берлина в мирное время, погибших сознательно, чтоб не врезаться в жилые кварталы и не погубить многие жизни; героизм испытателя ракет, осознанно рискующего во время опробования новой ракеты; и честность, к примеру, большой диетыстры, часами подкарауливающей в сыром подвале воровку-повариху, обкрадывающую больных, — далеко не одно и то же. Тем не менее кое-кто из литераторов усматривал общность героического начала в действиях солдата, бросающегося грудью на вражеское укрепление, и в поведении, подобном поведению диетыстры. Думается, что такое смешение ошибочно, даже осторожно употребленное при этом сочетание слов «героическое начало» не меняет существа дела. Очевидно, более четкое выявление героических начал в человеке особенно важно для литературы о современной армии хотя бы потому,

что во фронтовых условиях возможностей проявить мужество, героизм куда как много; в условиях же армейских будней, повседневности, видимого однообразия такой возможности объективно меньше, да и обнуржить, выявить героику здесь гораздо трудней. Но тем зорче, тоньше и кропотливее следует быть художнику в исследовании и отборе фактов и явлений, чтобы не оказаться в плену бытовизма, кухонной ограниченности.

Могут возразить: мол, если до конца следовать правде жизни, то надо признать, что и среди военных есть люди мешанствующие, людихлюпки, серые и приземленные — отрицательные «герои» разного толка. Что ж, спорить с этим трудно: есть и такие среди миллионной армии военных. Известно, в семье не без урода, и, конечно, литература не может проходить мимо них. Нет нужды, да и неверно ратовать за особое место, за особое положение военного героя в искусстве. Однако вольное или невольное сгущение темных красок, обеднение в литературе людей в шинелях ничего, кроме вреда, делу патриотического воспитания не принесет.

Одной из «горячих» проблем, которые требуют чрезвычайно аккуратного прикосновения, я бы сказал, деликатного обращения, является проблема молодых солдат, тех современных парней, кому в свой срок приспела пора исполнить гражданский долг — встать под ружье. Наверное, писатель должен испытывать особую социальную и моральную ответственность, вторгаясь в духовный мир такого молодого человека. Разобраться во всем, понять все надлежащим образом, поставить точки над «і» самим этим парням не всегда дано, это приходит со временем, со зрелостью, с опытом. И если духовное и социальное возмужание в условиях «гражданки» порой проходит для них незаметно, постепенно, то в армии, где таким молодым людям нужно зачастую сразу, что называется, с ходу, подчиниться жесткой войсковой необходимости, этот процесс развивается по-иному, порой приводит к острым психологическим конфликтам.

Здесь у известной части молодых людей начинает сказываться противоречие между долгом, который надлежит выполнить, и его личным «я», которое не всегда согласуется со строгими рамками воинской службы. Вполне правомерно, что подобное противоречие попадает в поле зрения писателей, оно представляет заманчивый интерес для художественного исследования. И конечно же, тотчас завоевывают читательскую признательность те произведения, в которых молодые люди находят, пусть даже не всегда полные, ответы на волнующие вопросы.

Свой истинно мужественный, героический характер, свою гражданскую зрелость советский солдат ярко продемонстрировал в послевоенные годы. Конечно же, такой солдат — от рядового до маршала — заслуживает литературного воплощения в полный рост и в полную

силу, отображения многогранного и глубинного, а не поверхностного и легкого, укладывающегося в прокрустово ложе схем, утвердившихся и ставших в известной мере каноническими для части литераторов. К примеру, выводится солдат как будто неглупый, современный, «начиненный» всей сегодняшней информацией, но зараженный изрядной долей скепсиса, — это с одной стороны; а с другой — изображается сержант или старшина, крутой, солдафонистый, грубо ломающий душу солдата, его «я». Или еще одна схема: хороший офицер, которому свойственны высокая сознательность, чувство долга, любовь к технике, но вот жена — полная ему противоположность...

Реальная жизнь армии, постоянное совершенствование боевой техники давно оставили позади упомянутые конфликты, выдвинув новые, более значительные и острые проблемы. Носители этого нового — люди самобытные, яркие, и эти люди заслуживают того, чтобы стать полноправными героями литературы.

Во все времена с упорством, но далеко не всегда с успехом литература вела поиски положительного героя, который предстал бы как порождение конкретной социально-исторической среды, был бы носителем черт лучших представителей своего века, своей эпохи. Такие поиски для советской литературы не только не утратили значения, а стали своего рода знаменем времени. И мне хочется обратиться к собратям по перу:

«Да ведь вот же он, тот положительный герой, которого вы ищете! Разве вы его не видите, вчерашнего рабочего, колхозника, а ныне воина, исполняющего первейший гражданский долг? В его ратной солдатской страде есть место и подвигу, и геройству, и он, этот герой, проявляет себя во всем блеске, во всей сложности и многообразии своей гражданской и человеческой сути!»

Кроме тех проблем и, следовательно, порождаемых ими конфликтов, о которых уже велась речь, современная армейская жизнь выдвинула иные, поставив их в повестку дня не только перед армейской общественностью, но и перед литературой.

Появление нового оружия, основанного на самых современных достижениях науки и техники, на мой взгляд, решительно отодвинуло в прошлое «динамизм действия» — столь выигрышный и, скажем прямо, эффектный, всегда дававший писателю богатую возможность показать военного человека в деле. Лихая атака кавалерии, когда мчатся кони, сверкают сабли, одна лавина врывается в другую; поединок двух летчиков в век винтовых самолетов, когда в многочисленных виртуозных атаках побеждало в первую очередь личное искусство пилота, мастерство ведения боя... В таких условиях при определенной опытности писателя не возникало особых затруднений: все было достаточно ясно, очевидно, психология человека проявлялась в зримой динамике действий, и эта психология была понятной

и созвучной не только писателю, но и читателю — контакт между ними возникал без особого труда.

Атомная, ракетная, электронная техника опрокинула этот динамизм из видимой области в невидимую, породила «мозговой динамизм» сегодняшнего инженера, техника, солдата — за пультом, у сложной аппаратуры. Как писателю проникнуть в тайны подобной динамики, когда кажется, что возле пульта ничего особенного не происходит, а вместе с тем «физик» в беспokoйстве то и дело поглядывает на экран осциллографа, на извивающуюся змейку-синусоиду, быстро и уверенно подкручивает шлицы отверткой, не глядя, словно телефонистка у коммутатора давних времен, переставляет штекеры в гнездах, каких тут, на панелях, бесчисленное множество... Что же с ним, военным «физиком», происходит, какие мгновенные взлеты мысли рождает и аккумулирует мозг?

Как открыть и высветить все это для читателя, сделать понятными, ясными и доходчивыми чувства и психические движения такого человека, какими средствами донести их и возбудить сопереживания читателя, а значит, высечь ту искру сопричастности, возбудить тот магический и счастливый миг слияния чувств героя и читателя и в итоге достичь той высшей награды и радости, о которой всегда мечтает истинный художник?

Новейшее оружие в силу своей сложности, а главное, комплексности — коллективное оружие. Смысл этого термина заключается в том, что готовность оружия к действию зависит абсолютно от каждого номера расчета, от каждого члена коллектива, от того, как он выполняет свою маленькую или большую роль в сложном оркестре. Здесь понятия «большая», «маленькая» употреблены в сугубо сравнительном смысле, поскольку ни одна из ролей не может расцениваться как незначительная. Неудивительно, что в таком коллективе формируются новые нравственные и психологические связи, и это понятно: промашка, нерадивость одного человека могут обернуться бедой всего коллектива. Представим на минуту: в мотострелковом батальоне дватри солдата не почистили свои автоматы, не подготовили их к бою, и автоматы отказали в атаке. От этого бой, вероятнее всего, не будет проигран. Не проверь же ракетчик точно, скрупулезно ракету и аппаратуру перед стартом, и кто знает, чем это окажется чревато...

Отсюда становится ясным, почему в подобных условиях рождаются, как уже сказано, новые нравственные и морально-этические нормы. А это, в свою очередь, не могло не сказаться и, безусловно, сказалось на дисциплинарных отношениях в армии, на качественно новом, более сознательном и глубинном понимании взаимоотношений командира и подчиненного. Суть в том, что у сложной аппаратуры все они — инженер, техник, солдат — причастны к одному и тому же делу: они прежде всего товарищи, коллеги по этому делу, и каждый выполняет его на своем уровне познания и видения всех тонкостей

обслуживаемой аппаратуры. И здесь, у аппаратуры, те же законы, «отдал приказ — потребуй выполнения», «повтори приказ — выполни — доложи». Тут нередко возникают ситуации, когда нужна, повторяю, мгновенная по реакции работа, и каждый из воинов — будь то офицер, сержант, солдат — обязан ее выполнить. Такого рода коррективы, привнесенные в армейские взаимоотношения техническим прогрессом, тоже могли бы оказаться в поле зрения литературы о современной армии.

Следует сказать, что претерпела изменения и сама вершина военной мысли — стратегия, главный ключ науки побеждать, потому что решение вопросов войны в век стратегических ракет, когда из любой точки земного шара «достается» любая нужная точка, конечно же, не может оставаться прежним.

Мы не ставили перед собой задачи всеобщего рассмотрения проблем, вызванных к жизни техническим прогрессом в современной армии, да это и невозможно, поскольку такие проблемы многочисленны и разнообразны. Цель этой статьи сводилась к одному: обратить внимание на наиболее, как нам представляется, важные из них, с тем чтобы по возможности раскрыть их значимость для литературы об армии.

В заключение хотелось бы высказать вот какую мысль: известно, что от желаемого до действительного зачастую немалая дистанция, тем более далеко до тех желанных торжественных звуков фанфар, которые возвестили бы о всеобщем мире на Земле, и, следовательно, нам предстоит еще держать порох сухим, совершенствовать нашу военную организацию, а значит, и заботиться о художественном отображении этой области жизни советского народа. Перспектива литературы о современной армии мне видится в создании широких полотен, поднимающих глубинные пласты армейской жизни, показывающих армию, военного человека в самых современных условиях. При всей остроте изображения существующих противоречий эта литература должна раскрывать всю сложность человека в военной форме как любого другого духовно богатого человека. И все же главное для нее — прославление советского воина, его нелегкого, многотрудного ратного дела и его героизма. Пусть в этой литературе Солдат Мира станет подлинным Героем.

1973

ТУНГУССКИЙ ОГОНЬ

В тусклом дне мозглый туман плотными белыми клубами висел над порожистой, своенравной Тутончаной, и издали, от палаточного лагеря поисковой партии, чудился стылými наметами снега. Редко

срывались, падали, будто бабочки-однодневки, синеватые жесткие снежинки. Оказавшись в положении залетной птицы, прикованный непогодой, которая буйствовала где-то там, в районе вертолетной базы (оттого таежных винтокрылых тружеников держали на приколе), я вынужденно коротал вторые сутки на крохотном островке из трех палаток среди лесного безбрежного моря, излазил берега реки, хлестал в отчаянье воду спиннингом, надеясь обмануть блесной тайменя, на худой конец ленка, но безрезультатно: рыба не жировала, должно быть, предчувствуя резкую перемену погоды. Глохлая, гнетущая тишина как бы давила под низкими рвано-отяжеленными тучами, бесшумно и таинственно сновавшими над головой, — тоже грозное и непреложное знамение.

К вечеру потемнело разом, будто кто-то там, выше туч, раскинул непроницаемое покрывало, дохнуло сырой, пронизывающей стужей, порыв ветра рванул, сметывая с реки туман, сминая прибрежные кусты тальника, взвихрил палые листья, сухие хрусткие сучья, бросил все это от палаточного стана к заслону великанов-пихтачей, вставших плечом к плечу на краю поляны. В темноте принялись срываться редкие и тяжелые холодные капли — предстояла неуютная, беспокойная ночь. Пришлось ретироваться, укрыться в палатке.

Подошла бригада. Люди сбрасывали амуницию, глухо стукали ящики с приборами; ветер рвал, относил фразы скупых переговоров. Неожиданно у самой палатки раздалось довольно громко:

— ...В брезентовую халупу — не-ее!.. Нычет, мы не чалдоны, не сибирского корня. «Тунгуса» запалим да постель сношим из пихтового лапника — знатно поспим!

«Никифор Пряхин, — догадался я по голосу с глушинкой, представил круглое плосковатое и обветренное лицо, курносый мягкий нос, но глаза — лучистые, тепло-янтарные, умные; ловкий, сильный мужик. Тут же защемило беспокойство: — Откуда... это словцо «нычет»? Неужели?!»

Откидывая набухлый брезентовый клин, шагнул в непогодь, горячительно думая: «Неужели читал марковских «Строговых», принял словцо деда Фишки или оно само по себе, независимо возникло?» Покряхтывая, Пряхин складывал увесистые приборные ящики. Его глаза весело прожгли темноту — мой вопрос, видно, задел его.

— Знамо — читано! «Умру, а ногой дрыгну!» Его, деда Фишки, присказка. Оно как же, Георгий Мокеевич наш писатель. И отец мой, и дядья Захар с Иваном в той партизанской армии Юксинскую тайгу вызволяли. А меня, что кедровую шишку, эвон куда закатило!

И тотчас предстало большое, разросшееся, словно кедр на крутояре,

древо династии сибиряков Строговых, на чьем примере писателем прослежены, скрупулезно и ярко, типические и жизненные тракты, какие вели к самоосознанию сибирским мужиком своей роли и к открылочно-возвышенному чувству хозяина не только нарождающейся новой судьбы, но и несметных кладов, какие таила Сибирь, этот «феномен двадцатого века». Всплыла легко и зримо сцена приезда в Волчьи Норы первой советской приисковой экспедиции: «Говорили все об одном: народ Юксинского края помог Красной Армии разгромить белогвардейцев и интервентов, он не пожалеет сил на строительство промышленного района».

Каким же пророчески дальновидным взглядом, прозорливой интуицией надо было обладать в те тридцатые годы, когда писался роман, чтобы смело, художественными средствами начертать бурную историю Сибири, которая нынче вершится с ускореньями, недоступными ни одной самой известной цивилизации на земле. Что это — счастливое, но случайное совпадение или подлинно художественная логика прозрения? С бесспорным основанием можно утверждать: да, мы имеем дело с естественной закономерностью, логикой художнического прозрения, ибо в последующем, более охватном и полифоничном романе «Сибирь» исследование революционно-исторического места огромного региона раскрыто писателем на широком и многоцветном полотне людских характеров, судеб, прежде всего на судьбе профессора Лихачева, человека истинно русского, для кого «где пахнет иностранной деньгой, там... делать нечего», и молодых революционеров Ивана Акимова, Кати, всей системой образного воплощения выявлен и доказан с силою и убедительностью, достойной основополагающей научной гипотезы, нынешний, поражающий мир расцвет Сибири.

К полночи бесноватый ветер утих, черно-антрацитовое небо вывездилось — к морозу; он подбирался под отсыревшую одежду ощутимо, и было ясно, что провести предстоящую ночь в палатках — удовольствие невеликое. Однако под началом Пряхина срубили два сухих кедра, комлями уложили вместе, вершины развели под углом, запалили. После разожгли костер и, сбившись в центре огненного треугольника, блаженствовали, обжигаясь чаем, настоящим на бадане, душице, почках дикой смородины. Темень от огромного, полыхающего огня «тунгуса» казалась непроглядной; потрескивали сушины, охваченные пламенем, но не стреляли раскаленными углями: кедрачи, иссохнув, став мертвыми, оберегали человека.

С безудержным, детским довольствием суетился среди ярившегося кострища Никифор Пряхин, и лицо его, медно-литое в росплесках буйствовавшего пламени, было одухотворенно-величественным, и в моем сознании родилось: «Ведь он не только прямой потомок тех юксинских партизан, он — живой носитель дум, чаяний и надежд целой галереи сибиряды писателя, он — реальное воплощение его

художественного мира, его предвидения». Гибкой жердиной Пряхин подправил огонь и на похвалу в свой адрес заметил не без довольства:

— Его, «тунгуса», не всяк одолеет, известно, сноровка требуется! У Мокеича-то опять путем описано, как того Гаврюху, из студентов, старик Федот — этот из беглых — наставлял про «тунгуса», как его ладить, да про вруна — как тайга наша чудит... Нычет, Сибирь она, и все тут! Вон ветрюга буйствовал, а теперь, язви его, мороз печенку ест

И пульсирующий, с затуханьями голос Пряхина, и его доверительное, даже «свойское» отношение к писателю не только не раздражало, не коробило слух — напротив, воспринималось как признание непорочное, чистое, как мужская сдержанная любовь, в которой все сокрыто в глубине. У жаркого костра мы в согласии молча пили чай, наполняя кто по второй, кто по третьей кружке из ведерного, дочерна закопченного чайника; набряклые ватники парили, белые космы скользили, возносились невысоко: вверху их подстерегал студеный воздух, вмиг смораживал. Мне же в общей разморенности, в веселом треске дерева, в ровном, упругом гудении огня почему-то являлись, приходили отрывчато, в мгновенных вспышках, встречи с Георгием Мокеевичем, всегда духовно обогащающие, его бесконечно многогранные писательские, общественные, государственные заботы и дела, в которых ей, Сибири-матери, всегда отведено красное место.

И уже после, лежа на возвышенном и мягком ложе из лапника, глядяваясь в алмазно-переливчатую инкрустацию млечного пояса, я неприметно для себя ощутил, как вольным и свободным потоком, казалось, разворачиваясь на этом светлом небесном поясе, воображение захлестнули калейдоскоп событий, удивительная и разномастная череда людей, героев, известных и безвестных, панорамы исторических свершений, спрессованных и сплавленных в литературной ткани широко известных романов и повестей писателя: «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь», «Орлы над Хинганом»...

Неторопливо, с замедленными вращалось колесо памяти и внезапно застопорилось, встало, будто память наткнулась и в первый миг словно бы в оторопи сжалась,— повесть «Тростинка на ветру» — о выборе молодой девушкой своего пути. Казалось, повесть выпадала из четко целеустремленного творческого русла писателя, склонного к эпике, исторической широкоохватности событий, умеющего промерить людскую жизнь до малодоступных глубин, достичь ее самых «плодоносных» слоев... Что это — вновь та простая случайность или случайность как закономерность, которую еще надлежит постичь и понять?

Текло время; от «тунгуса» накатывало ровным, нежгучим теплом; спали блаженным сном сотоварищи, сбившись в плотный ряд; крайним, сбоку от меня, спал Никифор Пряхин; огневые блики в слабой беспокойности откидывали к небу бесшумные бегучие тени... И тогда с толчком, в радости пришло: «А ведь в этом — счастливая молодость таланта, неистраченная его сила, коль писатель на крутом и высокоом перевале лет обращается неожиданно к сугубо молодежной теме!»

Под утро тунгусский огонь сделал свое дело: толстые кедровые сушины превратились в груды горячих углей. От них источалось такое тепло, что выпавший за ночь редкий снег растаял, отступил вымороженной холстиной к темной стене пихтачей, и воздух над ложем из лапника щекотал ноздри домовитым возбуждающим духом.

1981

ЕДИНОВЕРСТВО

Всегда представляется удивительным, чуточку даже таинственным факт явления таланта, которому судьбой уготовано после, набрав силу, обретя незримые крылья, восславить породившую его землю, людей — восславить так, что добрый осиянный свет и слава родной земли, ее людей озарят далекие горы и доли, преодолеют немалые расстояния, переступят любые границы.

Именно такая счастливая доля у книг Михаила Алексеева. Откуда она, где и как сложилась, справилась?..

Непросто добраться в Монастырское: на отшибе оно от столбовых дорог, да и само село не бог весть какое, — таких множество на безбрежье России; и речушка Баланда тоже вроде бы рядовая: летом, в пик суши, с превеликой натугой доталкивает она свои воды, вливает скромно в Медведицу, а потом в Дон, зато по апрельским пригревам взгрывает, расплескивает лomotную воду к подворьям монастырчан — тогда и на работу, и в гости, и в лавку доставляют плоскодонные юркие лодчонки...

И Баланда, и Медведица, войдя под иными именами полноправными героинями в книги Алексеева, стали знаменитыми, в славе своей поднявшись перед себе подобными.

Или Вишневый омут — круглое озерцо, поросшее по глинистым отлогим бережкам печально-горьковатой ольхой и палым, тощим камышом; омут этот любой добрый пловец пересечет, что называется, в три — пять взмахов саженок, однако волею писательского таланта предстает перед читателем величественным, одухотворенным, пугающим всеми теми реальными былями, кои складывались веками вокруг

Вишневого омота, и открытый нам, точно бы древнейшая цивилизация, опозитизированный столь чудно и высоко, предстал живым зеркалом и хранителем драматических событий и судеб многих поколений людей — земляков писателя.

Известно: все начинается с детства, все освещается им — и щемяще-распахнутое восприятие красоты окружающего мира, и постижение сложностей жизни, ежечасного бытия, осознание своего предназначения, ответственности перед дарованной жизнью, и выбор дороги, как в той сказке: налево пойдешь, направо иль прямо... К тому же детства, отмеченного не такими уж частыми радостями и достатком, когда высшим лакомством почитались тоненькая скибка белой булки на куске черного хлеба. И верно, в немалой степени под влиянием столь щемяще-реалистических представлений скажет писатель уже в пору зрелого мастерства о хлебе как об «имени существительном» в материальной и духовной жизни человечества, — крупно, талантливо выявит нерасторжимую, глубинную связь их, тонко и вместе с тем мужественно-сдержанно откроем мир людей Выселок, где весь уклад бытия, человеческие судьбы перепаханы, искромсаны беспощадным плугом войны. И кровоточащие людские судьбы, и сама жизнь залатываются с болью, приживляются не всегда успешно в этих Кологриевках, Выселках, Савкиных Затонах, и в неторопкой напряженности бьется в унисон с той же болью и неизбежной печалью мысль писателя; не сгущая и не размывая красок, рисует он этот близкий и родимый ему мир и уклад. Однако в этой сознательной и одновременно широкооглядной сдержанности слышен всевысокий и лучистый накал большой веры в людей, открывается вся многотрудность и покоряющая возвышенность, прочность их духовной стати.

И неудивительно, что легко, без труда рождается еще и еще раз тот естественный и единственный вывод: таких людей нельзя было сломить, поставить на колени в недавней для них военной беде. И другой, не менее важный, напрашивается вывод: горячо, смело, засучив рукава, правят они жизнь, но нет, не забыть им тех тяжелых годов, потому что слишком значительный, даже невосполнимый урон — материальный и лично-моральный — понесли они, все эти Акимушки, Зули, Капли, Журавушки. Их немало на нашей земле.

Несуетливость манеры, чуткая и вместе дозированная обстоятельность в описании событий, в поисках точных слов, казалось бы, доступных лишь в озарении, глубокая до пронзительной ясности и реалистичности обрисовка характеров, спокойное ощущение той воинственной, не затертой, подобно медяку, истины — вот что в полной мере присуще алексеевской даровости.

Да, велико и остро восприятие детства, оно, будто хрупкое, тончайшего хрустала творение, сохранилось в душе художника и,

осмысленное, обогащенное опытом жизни, выплеснулось в «Карюхе» — повести о старой и доброй лошади, вокруг которой вздымаются и рушатся надежды, вскипают людские страсти и борения, и гибель лошади, как в фокусе, высвечивает всю беспросветность одиночного пути в крестьянстве.

Повесть эта, родившись, тотчас же, без длительной проверки временем заняла место на красной полке — на полке советской литературной классики, утвердившись в этом ранге полноправно и прочно.

В последние годы обнародован роман «Ивушка-неплакучая». Нет, и раньше не скупился, рассыпал писатель по книгам золотые самородки женских образов, но то была как бы разведка, только подступ. Здесь же, в «Ивушке», зазвучал набатно, взлетев до бесстрашных высот, гимн русской женщине, чью силу, мужественность, а при необходимости и воительство знали от века далеко за пределами Руси и чем восхищались непритворно. А она к тому же во все самые лихие и не такие уж редкие испытания несла достойно свою красоту, оставалась подлинной стратотерпицей, личностью деятельной, выше же всего — рачительной блюстительницей незамутненных нравственных и жизнестойких начал народа, откуда они всегда шли в рост и ширь.

Что ж, большому мужеству и большому таланту под силу вскрыть подобный пласт.

И все же примеры истории русской и советской литератур, даже беглое обозрение творчества ряда крупных вершин, возвышающихся на этих только двух краях, с неизбежностью позволяют сделать вывод, что есть жизненные явления, на которые настроены «души высокие порывы», отдан весь пыл творческого горения. Писатель как бы оказывается опаленным и обожженным какой-то стороной жизни, особо чувствителен к ней, внутренний организующий стержень его словно бы сориентирован, настроен подобно диполю в электрическом поле.

Такое опаление не фигурально, а реально явила война, ворвавшись жгучим и горьким смерчем, смешав и взломав привычные устои, прокатившись по части нашей земли обвальным грохотом бомб и снарядов, лязгом танков, пожарищами и разрухой, разгулом смерти. И встал народ, встала страна огромная — на смертный бой «с фашистской силой темною, с проклятою ордой»; встали нерушимой ратью земляки Михаила Алексеева из тех самых Выселок, Кологриевок, Савкиных Затонов — все подчинилось единой целеустремленности: к победе, такой еще далекой, скорее лишь воображавшейся в ту пору.

Война перегрузила испытаниями не только все без исключения физические стати человека, но и моральные, ставя нередко на последнюю грань не только их природные возможности, но и са-

мо существование человека. Как-то прислали Михаилу Алексеевичу пионеры-следопыты достаточно весомый мешочек с ржавыми осколками немецких снарядов, с изъеденными коррозией пулеметными и автоматными пулями — все собрано у той яблоньки, где размещался КНП минометной роты у волжского берега, под Сталинградом. И тогда, в суровой задумчивости перебирая эти вещественные атрибуты смерти, писатель выразил сокровенное, что, верно, приходило ему в острые осенения памяти:

— И, выходит, целились фашисты не только в моих товарищей, в меня, но и в моих дочерей, внуков — не быть бы им на земле...

Не здесь ли хранится тот магический ключ к пониманию главной писательской привязанности, к той душевной и сердечной прикипелости? Вероятнее всего.

Долгими были военные дороги в боях, во фронтовой страде. Сначала те дороги были командирскими: комиссар, комроты минометов. А от Сталинграда, вернее, полгода спустя, те дороги стали длиннее командирских — газетные, челночные: пока войска рвались вперед в наступательном порыве или задерживались ненадолго в обороне, мотался заместитель редактора дивизионки вдоль растянувшихся боевых порядков, шил на «попутках» проселки от передовой до редакции, ютившейся где-нибудь в риге, разрушенной школе или зарывшейся в землянках, в глубокой балке. Позднее память не даст писателю покоя, и он в полный голос пропоет дивизионке, скромной газете, песнь — озорную и сдержанную, веселую и окрашиваемую душу рвущей горечью.

А в Вене, еще дымившейся, в коростах развалин, но словно бы с витавшими в воздухе чарующими «сказками Венского леса», гвардии капитан Алексеев — уже в газете «За честь Родины», и главы будущего романа «Солдаты» печатались в ней из номера в номер, и друзья-журналисты, и бойцы, порядком не охолонувшие от боев, с клочотавшим победным настроем ждали газету, читали про свои горячие, живые дела, угадывали вокруг себя героев — Шахаева, Пинчука, Семена Ванина, Али Каримова, офицеров Марченко, Забарова...

А его, писателя, глядевшего на бойцов, непосредственных участников, подлинных героев, прошивала жгучая мысль, в восторге холонуло сердце: «Неужели от Сталинграда, от Волги, отмахали аж в Европу, в центр ее — Вену?!»

Война, отведенная Михаилом Алексеевым полной мерой, как явление жестокое и противоестественное всему советскому укладу, навязанная нам, всколыхнувшая весь народ на борьбу с фашизмом, предстает в книгах писателя подлинно народной и священной, осознанной каждым бойцом, самой малой клеткой разума, и тот

движущий мотив — биться до победы — психологически тонко, точно, достоверно выявляется как доминанта чувств и устремлений бойцов и командиров в их ежечасной военной судьбе. С полным правом можно утверждать, что писатель проложил яркую тропу в тех, позднее ставших определяющими, поисках более пристального исследования психологии и характера человека на войне, и прежде всего человека — недавнего Сеятеля, а теперь Хранителя, то есть пахаря и солдата. И не трудно, и вместе с тем радостно отметить, со сколь глубоким и в одинаковой мере точным знанием и тщанием, равной душевной щедростью писатель одаривает «сережками таланта» и Сеятеля, и Хранителя родной земли, нашего мудрого селянина, окрещенного некогда столь высокими званиями певцом крестьян Некрасовым.

При внимательном, таком же, как у Михаила Алексева, с прищуром, пригляде к его книгам — военным и невоенным — без труда обнаружим: ба, да ведь это они, те же сеятели, в одном случае — во всей своей естественной принадлежности к землепашеству, в другом — по случаю военной надобности облаченные в солдатскую шинель. Неудивительно, что именно в таком благородном единоверстве, исповедуемом всем творчеством писателя, кроется та неприкрашенная мудрость жизни, вечный и неразъединимый сплав правды замечательных алексеевских, народных по своей первейшей сути книг, и в этом высшая опора и крепость его большого, мужественного таланта.

Идут они, его герои — сеятели и воины, — по дороге добра и справедливости, и рядом он, их писатель, тоже сеятель и воин.

1978

ВОЗВЫШЕНИЕ

Когда мне и моим товарищам доводится оказаться на Ленинградском шоссе, у деревни Черная Грязь, новыми домами с обеих сторон оторочившей полотно дороги, то непременно на крутом ее завороте с резко откосными бровками, уходящими в буерак, подается сигнал — сирена машины протяжно вспарывает придорожную тишину — и обрывается. У этого «салюта» географически точная привязка: здесь, на этом повороте дороги, у Черной Грязи, осенью сорок первого года полуторка, на которой попутно к передовой добирался корреспондент-организатор дивизионной газеты «Ворошиловский залп» Иван Стаднюк, пыталась оторваться от настигавших ее «юнкеров»;

тщетность усилий старенькой машины перед бомбардировщиками стала очевидна тут, на открытом, как на ладони, повороте, — фашистские самолеты накроют бомбами, расстреляют из пулеметов. Полуторка застопорилась, и красноармеец-водитель вместе с сопровождавшим командиром скатились из кабины в буерак. Стремглав ринулся и сидевший в кузове политрук Иван Стаднюк — ринулся через борт на другую сторону откоса.

Туго вздернули землю взрывы, заложило уши, а очнувшись, Иван Стаднюк в горькой, содрогнувшей сердце тоске открыл беду: немного осталось от случайных его попутчиков, чтоб предать по извечным человеческим нормам земле, — произошло прямое попадание бомб... Полуторку — искореженное железо, крошево из дерева — смело с дороги; горели дома деревни, метались беззащитные люди...

Возможно, кто-то усомнится в правомерности вопроса: а сколько горестей и бед способно вместить человеческое сердце, какие экстремальные, как ныне выражаются, перегрузки ему дано выдержать и где их порог? Очевидно лишь одно: такие беды, такие опаленья бесследно не проходят, оставляют метины, а то и рубцы на сердце, и это впрямую относится к Ивану Стаднюку, тем более, что доля не шибко баловала его с малолетства, с первых непрочных шагов по земле, лишив его материнской доброты и ласки — самого целительного бальзама нашей детской поры. И чувствительное его сердце, открытое любви, безмерной жалости к людям, содрогнувшись в тот миг, стиснулось, — лег невидимый болевой рубец...

После не одно еще такое горе, не одна утрата рубцом пометит его сердце за все долгие — «от звонка до звонка» — дни войны, которую он испытал, измерил полной мерой «окопного» газетчика. А в военные газетчики его привело, как водится, обстоятельство. Не выпали оно, и другое место уже было уготовано Ивану Стаднюку. Кто знает, какие последующие развития обрели бы вечно сокрытые и таинственные устремления судьбы, — предопределять и предугадывать их не дано человеку.

...Гудели сводчатые гулкие коридоры старинного здания Смоленского военно-политического училища; в спешке, уже в грозовой накали войны, вершился выпуск политработников. В числе первых Иван Стаднюк очутился в штабе округа и внезапно в штабной толчее лицом к лицу столкнулся с батальонным комиссаром Матвеем Крючкиным. Вспыхнуло светлым озареньем: недавнее окружное совещание молодых армейских писателей, комиссар — в президиуме, а он, Стаднюк, литкружковец при газете, и тем кружком руководили Н. М. Грибачев и Н. И. Рыленков.

— Постойте! Кажется, бывший курсант Стаднюк, участник совещания молодых армейских писателей?

- Он самый, товарищ батальонный комиссар.
- Куда назначены? Надеюсь, в газету?
- Политруком противотанковой батареи...
- Не-ет, такие в газетчиках должны... Идемте-ка!

И будто само провидение распахивало затем перед Стаднюком главный занавес войны, нередко вводило в самые крайние ситуации, не раз ставило перед исключительными фактами, как бы тем самым молчаливо и настойчиво поощряя: «Смотри, гляди, чувствуй и постигай — все это пригодится тебе, станет прочной основой, бесценным жизненным материалом твоего предназначения сначала как журналиста, а после — писателя».

Победно окончилась Великая Отечественная война, и по всем дорогам, перегруженным, перенапряженным, шли и шли с запада эшелоны с войсками — домой, на Родину: советские люди возвращались к земле, к станкам, к сотням разных профессий от одной общей — война. Однако полного покоя в мире не было и не могло быть. И опаленные войной солдаты, нередко израненные и искалеченные, не успев еще отвести и размягчить души возле своих только-только оперившихся, но рано возмужавших сыновей, наскоро прощались с ними, посылали их вместо себя — уже на мирную службу. Мирную, но не менее трудную и сложную, потому что им, юным, предстояло освоить весь ратный опыт отцов, надлежало встать вровень с отцами, так же крепко и твердо держать в руках оружие. Сказывалась и удивительная черта народа — отходчивость души, незлобивость и незлопамятность, любовь к жизни, окрашенной юмором, шуткой, весельем. В ту, теперь давнюю пору произошла встреча с одной из первых повестей Ивана Стаднюка «Максим Перепелица» — о новобранце, необстрелянном солдате, лукавом и простоватом, но на редкость смекалистом, находчивом. Неподдельно народная, заряженная живостью, смехом, она тотчас обратила на себя внимание, оказалась заметным литературным событием. Жизненно-правдивые коллизии и ситуации заложены в ней, освещены удивительно чистым, пластично-естественным светом, и притягательность, живучесть ее оказались стойкими и завидными: перешагнув, казалось, все временные пределы, она и поныне не обделена читательским вниманием, и поныне ничуть не постарела.

Что ж, уделы творческих личностей дают немало примеров, когда вольно или невольно, как бы воедино собранная, сплавленная, способность творца рождала счастливые случаи, и такие «случайные» дары человечество принимало всякий раз с благоговением и признательностью, ибо мировую культуру оно не черпало ковшами — в поте лица перерабатывало тысячи тонн «руды», чтоб добыть гран истинной ценности, и те бесценные грани укладывало бережно, со всеми

предосторожностями, на свои места в добрую и открытую всем сокровищницу. Но если художник не отгорожен от своего народа, его породившего, вдохнувшего упругость и мощь крыльям его таланта, если все сущее — природа, великая рукотворная деятельность человека в ее восхищающей гармонии — близко ему и он живет этим, если в душе его аккумулирована та нравственная сила, веками по крупицам, по шепоткам копившаяся народом и храняемая в нем, то можно смело сказать, что художнику уготована счастливая, тороватая судьба: она как бы вручает ему заветный ключ от источника с живой водой, и тогда мы становимся свидетелями не тех «редких даров», а щедрого и беззаветного, динамично-поступательного созидания художника, открывающего все новые и новые, неизбежные удачи и победы.

Именно без органичной связи с народом, без каждоминутной сопричастности с его радостями и печальми, свершениями и неудачами, без такой переполненности не только в душе, но и в каждой клетке от сознания величия своего народа — писателю не дано было бы написать «Максима Перепелицу» и уж, того более, вслед за этой повестью явить перед читателями роман «Люди не ангелы».

Конечно, роман этот написан не враз, не тотчас за повестью, — отсчитывался известный срок литературного труда, упорного и вдохновенного, появлялись на свет сценарии фильмов, книги, все чаще и привлекательней возникало имя писателя, однако, навеянное нам тем еще лишь ощущавшимся выводом, что мы имеем дело с даровитым писательским жребием, жило предчувствие, жило ожидание — должно явиться очередное, значительное произведение...

И ожидание оправдалось: роман «Люди не ангелы» — широкое литературное полотно, жгучая, открытая до пронзительной обостренности память пережитого, испытанного народом, преодоленного им в сложных социальных борениях; повествование, полное неизбежной скорби, сплавленное с высокой гражданственностью. И другое, что открылось немаловажным аспектом в даре писателя, — умение остро и социально глубоко рассматривать явления и события на маршевых поворотах истории, видеть их словно через душевно-нравственный сверхчувствительный микроскоп, через пронзенность сердца любовью к человеку; и еще — редкостную и бесценную способность философского осмысления в равной степени как житейско-бытовых, так и социальных сдвигов. В этом смысле весьма показательны поражающие своей грустной вередностью сцены долгих женитьб Платона Ярчука, в которых последнее слово в выборе невесты остается за малолетним сиротой — сыном Павликом; или на другом полюсе — полные драматизма, психологических схваток страницы жизни Платона Ярчука: несправедного его ареста, после — сознательной,

предопределенной гибели ради «выправления» судьбы и биографии сына Павла. Где подобные перекосы и изломы могли происходить — в родной писателю Кордышевке на Виннице? Да, там, но и в любом ином месте — в средней полосе России, в Поволжье, в Сибири... В то-то и суть, что под пером талантливого писателя обычное конкретно-географическое неизбежно обращается в типично-человеческое.

И если существует жанр народного романа (не в формально-научном определении), то роман «Люди не ангелы», несомненно, занял в ряду своих собратьев одно из достойных мест. А с точки зрения многотрудной писательской профессии — это богатырский шаг к овладению романно-эпическими традициями, глубинно-подспудными секретами творческого ремесла, за которым приходит прочное признание — мастер...

Удел же мастера известен: приняв столь высокое звание, он утрачивает право на послабления, тем паче отступления, он волен лишь подобно альпинисту без усталости, упорно штурмовать горные выси, бесконечная белизна коих всегда маняща и опасна, — шаг за шагом, возвышаясь, должен подниматься все дальше и дальше к тем приближающимся, но никогда все же не достижимым высям.

И он настойчиво, успешно делает эти шаги, они уже отчетливо тверды, поступь уверенней, зорче и острее взгляд, поле его жизненного видения раздвинулось и открылось неизмеримо просторно, в сердце же как бы живительно-горючими ключами забили, зафонтировали те скопившиеся и спрессовавшиеся боли — боли войны.

И однако, чтобы это оказалось очевидным для окружающих, для широкой аудитории, понадобились немалые годы — и возникла, предстала на суд людей «Война». Уже по первой ее книге выявилось совершенно ясно — большое, широкоохватное, эпическое полотно развертывает писатель, и от огромности, масштабности, теперь уже чудовищно отчетливо, невольно испытывалась и некоторая оторопь: чтобы осилить, сдюжить столь грандиозную ношу, нужны доблестные статьи. Ныне опубликованы вторая и третья книги «Войны». Пресса, наша критика достаточно пристальны к детищу писателя, и можно смело сказать, что встречи с этими книгами, продолжающиеся, динамичные, как в вихревом движении, демонстрируют всевозрастающее центристремительное ускорение популярности романа, легко множат читательскую аудиторию не только в среде людей, кто знает истинную и тяжкую цену войне, но и среди тех, для кого она становится осязаемой, рождает сопричастность лишь благодаря воле и таланту писателя, смело и непреклонно его вторжению в самую что ни на есть бучу, боевую, кипучую, войны, отгремевшей, но отголоскам которой еще долго будоражить, суетно и тревожно всколыхивать людскую память.

Давно к разряду аксиом причислены пушкинские слова о том, что «года к суровой прозе клонят», однако в прямом противоречии, кажется, складывается дорога Ивана Стаднюка: наряду с действительно суровой, обращенной к войне, ее необлеченным сторонам стаднюковской романистикой в писательскую, неизмеримо уплотненную жизнь вулканически-взрывчато прорывается неодолимая тяга к комедии, веселому, заразительному жанру, и тогда-то работа для кино, тоже горячая, неостудная, в результате которой ныне в активе кинематографа ряд поставленных по его сценариям фильмов: «Максим Перепелица», «Ключи от неба», «Меж высоких хлебов...»

Известно, что каждый писатель помышляет написать свою главную, вершинную книгу, и невольно возникает вопрос: а не есть ли «Война» — многоохватное, всеразрастающееся, включающее в свою орбиту огромные, разносторонние элементы этого колеса войны и радующее читателей эпическое сказание, — та главная книга писателя? Не она ли вершинное творение его беспредельно напряженной духовной работы? Что ж, поживем — увидим, ибо только времени, единственному арбитру человеческих свершений и всех ценностей культуры, дано ответить на столь щекотливый вопрос.

Но бесспорно — талант писателя, крепчая и набирая силу, находится в живом и ярком поступательном движении, в неослабно крутом возвышении.

1981

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Сердца высота	3
Борозда в граните	7
Туруханские встречи	11
Воин и литература	22
Тунгусский огонь	33
Единоверство	37
Возвышение	41

Николай Андреевич ГОРБАЧЕВ

ТУНГУССКИЙ ОГОНЬ

Редактор Б. А. Леонов

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 14.08.86. Подписано к печати 30.09.86. А 00740. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,99. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 2168. Зак. 3541. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Расчетный чек Гострудсберкасс СССР избавит Вас от необходимости иметь при себе крупную сумму денег при покупке товара стоимостью более 200 рублей.

● Расчетный чек также поможет Вам рассчитаться за приобретение садового домика и услуги предприятий бытового обслуживания и общественного питания по предварительным заказам.

● Расчетный чек выдается сберегательной кассой на сумму до 10 000 рублей за счет средств, хранящихся на счете по вкладу или вносимых наличными деньгами.

● Расчетный чек принимается к оплате в любом городе или районе страны. Он действителен в течение 2 месяцев, не считая дня его выдачи.

● Неиспользованный расчетный чек предъявляется в любую центральную сберегательную кассу для выплаты наличных денег или зачисления суммы во вклад.

Российское республиканское
главное управление
Гострудсберкасс СССР